

СКОТТ В.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
ЛАММЕРМУРСКАЯ НЕВЕСТА

Рассказы трактирщика

Вальтер Скотт

Ламмермурская невеста

«Алгоритм»

1819

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

Скотт В.

Ламмермурская невеста / В. Скотт — «Алгоритм»,
1819 — (Рассказы трактирщика)

ISBN 978-5-486-03016-1

Вальтер Скотт (1771–1832) – английский поэт, прозаик, историк. По происхождению шотландец. Создатель и мастер жанра исторического романа, в котором он сумел слить воедино большие исторические события и частную жизнь героев. С необычайной живостью и красочностью Скотт изобразил историческое прошлое от Средневековья до конца XVIII в., воскресив обстановку, быт и нравы прошедших времен. Из-под его пера возникали яркие, живые, многомерные и своеобразные характеры не только реальных исторических, но и вымышленных персонажей. За заслуги перед отечеством в 1820 г. Скотту был дарован титул баронета. Роман «Ламмермурская невеста», публикуемый в этом томе, является, пожалуй, самым мрачным из всех «шотландских» романов Вальтера Скотта. Ни один из них не заканчивается столь несчастливо – гибелью главных героев, ни в одном из них не встречается такого обилия зловещих пророчеств и предзнаменований.

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-03016-1

© Скотт В., 1819
© Алгоритм, 1819

Содержание

Глава I	6
Глава II	14
Глава III	20
Глава IV	27
Глава V	31
Глава VI	39
Глава VII	44
Глава VIII	53
Конец ознакомительного фрагмента.	56
Комментарии	

Вальтер Скотт

Ламмермурская невеста

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2009

* * *

Глава I

*Тот бедняк, кто малеваньем
Добывает пропитанье,
Всем капризам и желаньям
Должен угождать.
Старинная песня¹*

[1]

Мало кого посвятил я в свою тайну: мало кто знал о том, что я сочиняю повести, и, надо полагать, повести эти едва ли увидят свет при жизни их автора. Но если бы даже их напечатали, я не стал бы стремиться к известности, *digito monstrari*². А если бы я все же лелеял такую опасную надежду, то, признаться, предпочел бы, подобно искусному кукольнику, разыгрывающему перед зрителями веселую историю Панча и супруги его Джоан^[2], оставаться за ширмами и, невидимый, наслаждаться изумлением и сметливостью моей публики. Тогда, быть может, я услышал бы, как знатоки с похвалою отзываются о сочинениях никому неведомого Питера Петтисона^[3], а люди чувствительные приходят от них в восторг; я узнал бы, что молодежь зачитывается моими повестями и что даже старики не обходят их своим вниманием; что критики спешат приписать их какому-нибудь прославленному имени, а в литературных кружках и салонах только и разговору, кто и когда сочинил эти повести. Но вряд ли мне суждено такое счастье при жизни, на большее же мне, безусловно, нечего рассчитывать.

Я слишком закоснел в своих привычках, слишком мало знаком со светским обхождением, чтобы притязать или надеяться на почести, воздаваемые моим знаменитым собратом по перу. К тому же вряд ли я возвысился бы в собственном мнении, когда б меня сочли достойным занять на один сезон место среди знаменитых «львов» нашей великой столицы. Я не сумел бы вскакивать, поворачиваться к публике, выставляя напоказ все свои прелести, от косматой гривы до украшенного кисточкой хвоста, «рычать, что твой соловушка»^[4], и снова опускаться на брюхо, как то подобает благовоспитанному питомцу балагана, – и все это за несчастную чашку кофе и жалкий ломтик хлеба с маслом, не толще облатки. Я не смог бы переварить грубую лесть, которую в таких случаях хозяйка дома расточает своему зверинцу, что она делает с таким же усердием, с каким пичкает леденцами попугаев, чтобы заставить их болтать при гостях. Я не смог бы ради подобного признания заставить себя ходить на задних лапах и, не будь у меня иного выбора, предпочел бы, как пленный Самсон, всю жизнь вертеть жернова^[5], нежели развлекать филистимлянских дам и вельмож, и не из-за какой-то там неприязни – подлинной или напускной – к нашей аристократии: они занимают в свете свое место, а я свое, и доведись нам столкнуться, как это случилось в старинной басне о чугунном и глиняном горшках, то худо пришлось бы мне. Иное дело эти страницы. Читая их с удовольствием, великие мира сего не возбуждают в душе их автора пустых надежд, а выказав к ним пренебрежение или хулу, не причинят ему страданий, а между тем при личном общении с теми, кто трудится для его развлечения, вельможе редко удается избежать того или другого.

Лучше и мудрее меня эти чувства выражены в словах Овидия^[6], которые я охотно предпослал бы этим страницам:

*Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbem*³.

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены Ю. Левиным.

² Чтобы на меня показывали пальцем (*лат.*).

³ Не завидую тебе, книжка-малютка, что без меня ты отправишься в город (*лат.*).

Правда, прославленный изгнанник тут же опровергает эту мысль, но я не могу с ним согласиться и не разделяю его печали о том, что он не может собственной персоной сопроводить свою книгу на ярмарку, где торгуют литературой, роскошью и наслаждениями. И если бы даже не было известно множества подобных примеров, достаточно одной истории моего бедного друга и школьного товарища Дика Тинто, чтобы удержать меня от желания искать счастья в славе, выпадающей на долю тех, кто успешно трудится на ниве искусства.

Называя себя художником, Дик Тинто обычно не забывал упомянуть, что происходит от древнего рода Тинто из Ланаркшира, а при случае намекал, что в известной степени роняет свое достоинство, добывая средства к жизни карандашом и кистью. Но если только Дик ничего не напутал в своей родословной, то кой-кому из его предков доводилось падать еще ниже, ибо добрый его родитель был портным в селении Лангдирдуме, в западной части Англии, – занятие полезное и, несомненно, честное, но, уж конечно, не аристократическое. Дик родился под скромной кровлей портного и, вопреки собственному желанию, с детства был определен учиться этому скромному ремеслу. Однако старому Тинто не пришлось радоваться победе, одержанной над врожденными склонностями сына. Старик поступил как школьник, который пытается заткнуть пальцем фонтан: разъяренная воздвигнутой преградой, струя вырывается наружу и обдаёт беднягу с головы до ног тысячами брызг. То же произошло и с Тинто-старшим. Мало того, что его многообещающий сынок извел весь мел, упражняясь в рисовании на портняжном столе, он к тому же принялся малевать карикатуры на самых достойных заказчиков отца. Те возроптали и заявили, что не станут терпеть, чтобы отец превращал их в уродов, а сын делал из них посмешище. Видя, что ему грозят позор и разорение, старик портной покорился судьбе и, вняв мольбам Дика, разрешил ему попытать счастья на ином поприще, более соответствовавшем его наклонностям.

Как раз в ту пору проживал в Лангдирдуме некий странствующий служитель муз, занимавшийся своим искусством *sub Jove frigido*⁴ и покоровивший сердца всех местных мальчишек, в особенности же Дика Тинто. В те времена еще не вошло в обычай наводить на все экономию и, в числе прочих недостойных ограничений, заменять сухой надписью символическое изображение ремесла, преграждая тем самым художникам дорогу к доселе всегда открытому и доступному источнику совершенствования и доходов. Тогда еще не разрешалось писать на оштукатуренной притолоке у входа в трактир или на вывеске над дверью гостиницы: «Старая сорока» или «Голова сарацина», заменяя бесстрастными словами живой образ пернатой болтуны или кривой оскал страшного турка в тюрбане. В те далекие и простые времена умели уважать нужды всех сословий и писали трактирные вывески – эти эмблемы веселья – с таким расчетом, чтобы они были понятны каждому, без различия положения и звания, не забывая, что иной бедняк, не умеющий сложить и двух слогов, может любить кружку доброго эля не меньше, чем его грамотеи соседи или даже сам пастор. Руководствуясь столь либеральными правилами, трактирщики заявляли о своем промысле красочными символами, и художники если и не жили в роскоши, то по крайней мере не умирали с голоду.

Итак, Дик Тинто поступил в учение к достойному представителю этой, как мы говорили, пришедшей в упадок профессии и, как это нередко случается со многими гениями в этой области, начал писать красками, еще не имея понятия о том, что такое рисунок. Врожденная наблюдательность вскоре помогла ему избавиться от ошибок своего учителя и обходиться без его наставлений. Особенно хорошо Дик рисовал лошадей, которых так любили изображать на вывесках в шотландских деревнях; прослеживая путь молодого художника, отраднее видеть, как мало-помалу он научился укорачивать спины и удлинять ноги этим благородным животным, отчего они становились меньше похожими на крокодилов и больше – на самих себя.

⁴ Под холодным небом (лат.).

Клеветники, всегда готовые преследовать талант с рвением, пропорциональным его успехам, распустили слухи, что Дик однажды изобразил лошадь о пяти ногах вместо четырех. В его оправдание я мог бы сослаться на то, что художники пользуются свободой создавать любые, даже необычные и неправильные, сочетания, а поэтому нет ничего не дозволенного в том, чтобы пририсовать излюбленному предмету изображения одну конечность сверх положенных. Но я свято чту память моего покойного друга, и мне не по душе столь малообоснованная защита. Я видел вышеупомянутую вывеску, еще и поныне красующуюся в Лангдирдуме, и готов поклясться, что предмет, который по ошибке или по недоразумению был принят за пятую ногу, на самом деле есть не что иное, как хвост, и эта деталь, принимая во внимание позу, в которой изображено благородное парнокопытное, введена и выполнена с величайшим искусством и смелостью. Конь поднят на дыбы, и хвост, доходя до земли, словно образует *point d'appui*⁵, придавая всей фигуре устойчивость треножника; не будь этого, осталось бы непонятным, каким образом всаднику удастся удерживать лошадь в таком положении и при этом не перекувырнуться. По счастью, дерзновенное творение попало в руки человека, сумевшего оценить его по достоинству, и, когда Дик, поднявшись на новую ступень совершенства, усомнился, прилично ли ему столь дерзко отступать от принятых в искусстве правил, и пожелал изъять это юношеское произведение, предложив взамен владельцу написать его портрет, рассудительный трактирщик отклонил это любезное предложение, заявив, что всякий раз, когда его эль не способен развеселить посетителей, им стоит взглянуть на вывеску, чтобы тотчас прийти в хорошее расположение духа.

Я не ставлю себе здесь целью проследить шаг за шагом, как Дик совершенствовал свое мастерство и с помощью правил умерял излишнюю пылкость воображения. Когда он увидел картины своего современника, шотландского Тенирса^[7], как тогда заслуженно называли Уилки^[8], с его глаз спала пелена. Он бросил кисть, взялся за мелки и, невзирая на голод и тяжкий труд, безвестность и неуверенность в завтрашнем дне, продолжал идти по избранному пути, постигая искусство живописи под руководством учителей, лучших, чем его первый наставник. Тем не менее первые неумелые опыты гениального художника (подобно детским стихам Попа^[9], если бы их можно было разыскать) навсегда останутся дорогами друзьям его юности. Так, над дверью маленькой харчевни, расположенной в глухом переулке в Гэндерклю, сохранились чан и рашпер, нарисованные Диком Тинто... Но я чувствую, что пора расстаться с этой темой, ибо я могу говорить о моем друге бесконечно.

Живя в нужде и ведя постоянную борьбу за существование, художник прибегнул к средству, обычному среди его собратьев по кисти: не будучи в силах обложить данью вкус и щедрость, он принялся взимать ее с людского тщеславия – одним словом, пустился писать портреты. И вот после того как многие годы мы ничего не знали друг о друге, в ту пору, когда Дик достиг уже значительных успехов и, высоко поднявшись над первоначальными своими опытами – трактирными вывесками, – не выносил даже намека на них, мы снова встретились в селении Гэндерклю, где я занимал нынешнюю свою должность, а Дик изготовлял копии с человеческих лиц, созданных Всевышним по собственному образу и подобию, и брал по гинее за штуку. Это было, конечно, жалкое вознаграждение, но на первых порах его с избытком хватало, чтобы удовлетворить скромные потребности моего друга: Дик занял номер в гостинице «Уоллес» и, отпуская дерзкие шутки на счет ее обитателей, а порою не щадя даже самого хозяина, мирно жил, пользуясь уважением, равно как и услугами горничной, конюха и трактирного слуги.

Эти безмятежные дни были слишком хороши, чтобы длиться долго. Как только его милость лэрд Гэндерклю с супругой и тремя дочерьми, пастор, акцизный, мой достойный покровитель мистер Джедедия Клейшботэм^[10] и несколько богатых арендаторов и фермеров

⁵ Точку опоры (*фр.*).

обеспечили себе бессмертие с помощью кисти Тинто, заказы почти совсем прекратились; что же до крестьян, которых тщеславие изредка приводило в мастерскую художника, то из их мозолистых рук обычно не удавалось вырвать больше кроны.

И все же, хотя горизонт заволокло тучами, буря пока еще не разразилась. Владелец гостиницы обходился по-христиански с постояльцем, исправно вносившим плату, куда водились деньги. Внезапное же появление в парадной зале семейного портрета во вкусе Рубенса, на котором сам хозяин красовался рядом с женой и дочерьми, свидетельствовало о том, что Дик нашел все же способ обменивать плоды искусства на необходимые средства к жизни.

Нет, однако, ничего ненадежнее источников такого рода. Теперь уже Дик, в свою очередь, сделался мишенью для насмешек хозяина, не смея при этом защищаться или платить ему тем же: мольберт был снесен на чердак, где его даже невозможно было поставить как следует, а сам Тинто перестал посещать еженедельные собрания в трактире, на которых прежде бывал душою общества.

В конце концов друзья Дика Тинто стали опасаться, как бы он не уподобился животному, известному под названием ленивец, которое, истребив начисто все листья на приютившем его дереве, сваливается на землю и подыхает от голода. Я даже взял на себя смелость намекнуть Дикю на грозящую ему опасность, советуя покинуть гостеприимные пределы, истощенные им дотла, чтобы использовать бесценный свой талант в каком-нибудь другом месте.

– Существует одно обстоятельство, мешающее мне уехать отсюда, – печально сказал мой друг, пожимая мне руку.

– Неоплаченный счет? – спросил я с искренним участием. – Если мои скромные средства смогут выручить тебя из беды...

– Нет, нет, – поспешил прервать меня благородный юноша, – клянусь душою сэра Джошуа^[1], я не стану перекладывать на плечи друга бремя собственных неудач. У меня есть средство возвратить себе свободу; лучше уж выбраться через сточную трубу, чем оставаться в тюрьме.

Я так и не понял, что имел в виду мой приятель. Муза живописи, по-видимому, обманула его ожидания. Какую же другую богиню собирался он призвать себе на помощь?

Это оставалось для меня тайной. Мы расстались, так и не объяснившись друг с другом, и увиделись только три дня спустя на прощальной трапезе, которую хозяин устроил для Дика по случаю его отъезда в Эдинбург.

Я застал Тинто в превосходном расположении духа: он насвистывал, укладывая в котомку краски, кисти, палитру и чистую рубашку. Внизу, в зале, нас ожидали холодная говядина и две кружки отличного портера, из чего я заключил, что Дик уезжает, не нарушив доброго соглашения с хозяином. Признаться, любопытство мое было сильно возбуждено, и мне не терпелось узнать, каким образом дела моего друга так внезапно поправились. Я не мог заподозрить Дика в сообщничестве с дьяволом и терялся в догадках.

Он заметил мое нетерпение и, взяв за руку, сказал:

– Друг мой, я охотно скрыл бы даже от тебя унижение, через которое мне пришлось пройти, чтобы иметь возможность пристойно распрощаться с Гэндеркью. Но к чему пытаться скрыть то, что все равно обнаружится само собой! Все селение, весь приход, весь свет скоро увидят, на что толкнула бедность Ричарда Тинто.

Внезапная догадка вдруг осенила меня – я заметил, что в это памятное утро хозяин разгуливал по гостинице в совершенно новых бархатных панталонах, сменивших старые, заносные штаны.

– Как! Ты снизошел до отцовского ремесла! – воскликнул я и, сложив щепотью пальцы правой руки, быстро провел ею от бедра к плечу, словно делая наметку. – Ты взялся за иглу? Эх, Дик!

В ответ на это нелепое предположение Дик только нахмурился и фыркнул, что означало у него крайнее возмущение, а пройдя со мной в другую комнату, указал на прислоненное к стене изображение величественной головы сэра Уильяма Уоллеса^[12], столь же страшной, как в тот момент, когда ее сняли с плеч по приказу вероломного Эдуарда. Картина была написана на толстой доске, увенчанной железной скобой, и, по-видимому, предназначалась в качестве вывески.

– Вот, друг мой, – сказал Тинто. – Вот слава Шотландии и мой позор. Или, вернее, позор тех, кто вместо того, чтобы поощрять художников, помогая им служить искусству, толкает их на подобные недостойные и низкие поделки.

Я старался успокоить моего обиженного и возмущенного друга. Я напомнил ему, что не следует уподобляться оленю из известной басни, презирая талант, который вывел его из затруднения, тогда как другие его высокие качества портретиста и пейзажиста оказались бесцельны ему помочь. Я особенно хвалил исполнение, равно как и замысел картины, уверяя, что он не только не покроет себя позором, представив на всеобщее обозрение столь совершенный образец таланта, но, напротив, приумножит свою славу.

– Ты прав, друг мой, ты бесконечно прав, – ответил Дик, обращая на меня восторженно горящий взгляд. – Зачем мне стыдиться звания... звания... (он искал нужное слово) уличного живописца. Разве Хогарт^[13] не изобразил себя в таком виде на одной из лучших своих гравюр? Доменикино^[14] или, возможно, кто-то другой – в былые времена, Морленд^[15] – в наши дни не гнушались работать в этом жанре. Где это сказано, что только богатые и знатные должны наслаждаться произведениями искусства, тогда как они рассчитаны на все классы без изъятия. Статуи выставляют под открытым небом, так почему же, показывая свои шедевры, Живопись должна быть скaredнее своей сестры Скульптуры? Однако, дорогой мой, нам пора прощаться! Сейчас придет плотник, чтобы повесить эту... эту эмблему, а, право, несмотря на все мои рассуждения и твои утешающие речи, я предпочел бы расстаться с Гэндерклю до того, как произойдет это событие.

Мы отведали угощения, предложенного нам добросердечным хозяином, и я пошел проводить Дика по дороге в Эдинбург. Мы простились в миле от селения в ту самую минуту, когда раздалось радостное «ура», – это мальчишки приветствовали водружение новой вывески с изображением головы Уоллеса. Дик Тинто прибавил шагу, чтобы скорее уйти подальше от веселых криков, – ни прежнее ремесло, ни недавние рассуждения не могли примирить его с ролью живописца, малюющего вывески.

В Эдинбурге талант Дика был замечен и оценен по заслугам. Несколько прославленных знатоков искусства удостоили его своими советами и приглашением на обед. Но господа эти оказались более щедрыми на советы, чем на деньги; по мнению же Дика, последние принесли бы ему больше пользы, нежели первые. Поэтому он избрал путь на Лондон, эту всемирную ярмарку талантов, где, однако же, всегда больше товару, чем покупателей.

Дик, за которым всерьез признавали недюжинные способности к живописи и чье самолюбие и сангвинический характер не позволяли ему усомниться в конечном успехе, ринулся в толпу тех, кто толкается и дерется из-за славы и чинов. Одних ему удавалось отпихнуть, другие отталкивали его. Наконец благодаря своему упорству он добился некоторой известности; писал картины на приз Общества^[16], выставлялся в Соммерсет-хаузе^[17] и осыпал проклятиями учредительный комитет, но так и не одержал победы на избранном поприще, на котором сражался с таким бесстрашием. В изящных искусствах не существует середины между блистательным успехом и полным провалом, а так как рвение и усердие не помогли Дику обеспечить себе славу, он подвергся всем тем несчастьям, что выпадают на долю безвестности. Некоторое время ему покровительствовали два-три знатока, почитавшие за доблесть слыть оригиналами и во всем идти наперекор мнению света, но вскоре художник наскучил им, и они бросили его, как балованное дитя бросает игрушку. Тогда злосчастье привязалось к нему и уже не отпускаяло

его, сведя преждевременно в могилу. Смерть избавила Тинто от мрачной конуры, где он жил на Суоллоу-стрит, преследуемый дома за долги хозяйкой и подстерегаемый на улице судебными приставами. «Морнинг пост» уделила его памяти четверть столбца, великодушно заявив, что в манере живописца угадывался немалый талант, хотя в картинах его не было законченности. Тут же сообщалось, что известный торговец гравюрами мистер Варниш, располагая несколькими рисунками и эскизами Ричарда Тинто, эсквайра, приглашает знатных господ и других джентльменов, желающих пополнить свои собрания современной живописи, незамедлительно ознакомиться с ними. Так кончил свою жизнь Дик Тинто: прискорбное доказательство той непреложной истины, что искусство не терпит посредственности и что тому, кто не может вскарабкаться на вершину лестницы, уж лучше не ставить ногу даже на первую ступеньку.

Мне дороги воспоминания о Тинто, особенно же о наших беседах, в которых мы чаще всего обращались к предметам моих настоящих занятий. Дик радовался моим успехам и предлагал выпустить роскошное иллюстрированное издание с заставками, виньетками и *culs de lampe*⁶, выполненными его рукой, подвижной дружескими чувствами к автору и любовью к родному краю. Он даже уговорил одного старого калеку, сержанта, позировать ему для Босуэла^[18], сержанта лейб-гвардии Карла II^[19], и стал писать гэндерклюского звонаря для портрета Дэвида Динса^[20]. Однако, предлагая объединить наши усилия, Дик высказал мне множество замечаний, примешивая немалую дозу здоровой критики к тем похвалам, которые мои сочинения нередко имели счастье снискать у читателя.

– Твои герои, любезный Петтисон, – говорил он, – слишком пустозвонят. Они слишком много трещат. (Изящные выражения, заимствованные Диком из лексикона странствующей труппы, для которой он писал декорации.) У тебя целые страницы заполнены болтовней и всякими диалогами.

– Один древний философ любил повторять: «Говори, дабы я мог познать тебя», – возразил я, – и, мне кажется, нет более верного и сильного средства представить действующих лиц читателю, чем диалог, в котором каждый герой раскрывает присущие ему черты.

– Совершенно несправедливая мысль! – воскликнул Тинто. – Она столь же ненавистна мне, как пустая фляга. Я допускаю, что разговоры имеют какую-то ценность при общении людей между собой, и вовсе не придерживаюсь теории пифагорейского пьяницы, утверждавшего, что болтать за бутылкой – только портить добрую беседу. Но я не могу согласиться с тем, что писатель, желая убедить публику в правдивости изображаемого им события, передает его с помощью диалога. Напротив, я убежден, что большинство твоих читателей – если повести эти когда-нибудь увидят свет – признает вместе со мной, что ты нередко заполняешь целую страницу разговорами в тех случаях, где хватило бы и двух слов; а между тем, изобразив точно и в должных красках позы, манеры и само событие, ты сохранил бы все ценное и избежал бы при этом бесконечных «он сказал», «она сказала», которыми пестрят твои произведения.

– Ты забываешь о различии, существующем между пером и кистью, – сказал я. – Живопись, это безмятежное и безмолвное искусство, как назвал ее один из лучших современных поэтов, по необходимости обращается к зрению, не располагая средствами вызвать к слуху; поэзия же и все прочие родственные ей виды словесности вынуждены вызывать к слуху, дабы вызвать интерес, который не могут пробудить с помощью зрения.

Мне не удалось поколебать мнение Тинто этими доводами, построенными, как он заявил, на ложной посылке.

– Для сочинителя романов, – заявил он, – описание – все равно что рисунок и колорит для живописца. Слова – те же краски, и если писатель употребляет их со знанием дела, то нет такой сцены, которой он не мог бы вызвать перед мысленным взором читателя с той же яркостью, с какой живописец представляет ее глазам зрителя на гравировальной доске или холсте. И тут

⁶ Концовками (*фр.*).

и там одни и те же законы; чрезмерное же увлечение диалогом, этой многословной и утомительной формой, привело к смешению художественного повествования с драмой – совершенно иным видом литературного сочинения, в котором диалог действительно является основой, ибо, за исключением реплик, решительно все – костюмы, лица, движения актеров – обращено здесь к зрению. Нет ничего скучнее, чем длинный роман, написанный в форме драмы, – продолжал Дик, – и всякий раз, когда ты прерываешь повествование длинными разговорами, приближая его к этому жанру, оно становится холодным и неестественным; ты же утрачиваешь способность привлекать внимание читателя и возбуждать его воображение, что во всех иных случаях, мне кажется, тебе вполне удается.

Я поклонился в благодарность за комплимент, сказанный, очевидно, с единственной целью – позолотить пилюлю, и тотчас изъявил готовность написать – во всяком случае, попытаться – роман в стиле, более согласном с вышеозначенными правилами, где герои будут действовать больше, а говорить меньше, чем во всех предыдущих моих произведениях. Дик одобрительно кивнул и прибавил покровительственным тоном, что в награду за послушание подарит моей музе сюжет, которым в свое время заинтересовался, имея в виду собственное искусство.

– Если верить преданию, – сказал он, – эта история действительно имела место; однако с тех пор прошло уже более ста лет, и разумно усомниться в точности всех подробностей.

С этими словами Тинто полистал кипу набросков и извлек оттуда рисунок; это был эскиз, как он пояснил, к будущей картине, размером четырнадцать футов на восемь. Этот эскиз, выражаясь языком художников, весьма искусно выполненный, изображал старинный зал, отделанный и обставленный, как бы мы сказали нынче, во вкусе елизаветинской эпохи^[21]. Свет, проникавший в комнату через верхнюю половину высокого окна, падал на молодую девушку необычайной красоты; она словно застыла в безмолвном отчаянии, ожидая исхода спора между двумя другими лицами – молодым человеком в вандейковском костюме^[22] времен Карла I и женщиной, которая, судя по возрасту и сходству черт, была ее матерью. Молодой человек с видом уязвленной гордости – о ней говорили его откинута голова и вытянутая вперед рука – не столько просил, сколько требовал чего-то принадлежащего ему по праву у старшей женщины, которая слушала его с явным неудовольствием и нетерпением.

Тинто показал мне этот эскиз с видом тайного торжества: он смотрел на него с таким наслаждением, с каким любящий родитель взирает на многообещающего сына, предвкушая, какое высокое место займет его чадо в свете и как прославит оно имя отца. Сначала он подержал рисунок в вытянутой руке, затем поднес его ближе, поставил на ларец, закрыл нижние ставни, так как верхний свет казался ему более выгодным, отступил на несколько шагов (при этом он заставил меня отойти вместе с ним), заслонил ладонью глаза, словно желая сосредоточиться на любимом предмете, и, наконец, испортив детскую тетрадку, скрутил из нее трубку на манер тех, какими пользуются любители живописи. Как видно, степень моего восторга не соответствовала его ожиданиям.

– Мистер Петтисон, – с живостью воскликнул он, – я всегда думал, что у тебя есть глаза!

На это я заявил, что природа не обошла меня, наделив зрением достаточно острым.

– Не нахожу, – сказал Дик. – Клянусь честью, ты, должно быть, родился слепым, если не сумел с первого взгляда понять сюжет и смысл этого эскиза. Я не собираюсь хвалить свою работу, предоставляя это другим. Я вижу свои недостатки; рисунок и колорит, я сознаю это, еще далеки от совершенства, хотя надеюсь, что они станут лучше с годами, которые я намерен провести в занятиях живописью. Но композиция, позы, выражение лиц – разве они не рассказывают целую историю каждому, кто только глянет на этот эскиз. Если мне удастся написать мою картину, не обеднив первоначального замысла, имя Тинто уже не будет скрыто за туманом зависти и клеветы.

– Мне очень нравится твой эскиз, – заметил я, – но, не зная сюжета, я не могу оценить его в полной мере: я должен знать, о чем здесь идет речь.

– Вот это-то и сердит меня, – сказал Дик. – Ты так привык к этим медленно наслаивающимся, серым деталям, что утратил способность мгновенного и яркого восприятия; а только оно, словно молния озаряя разум, помогает нам при виде картины, выразительно и точно запечатлевшей какое-то мгновение из жизни героев, догадаться по их позам и лицам не только об их прошлом и настоящем, но и, приподняв завесу будущего, об уготованной им судьбе.

– В таком случае, – ответил я, – живопись превзошла обезьянку знаменитого Хинеса де Пасамонта^[23]: его зверек не пробовал совать свой нос дальше прошлого и настоящего... Более того – живопись превосходит саму Природу, из которой черпает сюжеты, ибо смею тебя уверить, любезный Дик, что, получи я возможность заглянуть в этот елизаветинский зал и узреть воочию представленных тобою людей, я бы ни на йоту не продвинулся в понимании их истории и уразумел бы ее не больше, чем теперь, когда смотрю на твой эскиз. Правда, судя по томному взгляду юной особы и той тщательности, с какой ты выписал стройную ногу молодого человека, я могу предположить, что дело идет о любви.

– И ты воистину решаешься пойти на такое смелое предположение? – усмехнулся Дик. – А страстность, с какою этот пылающий гневом юноша отстаивает свои права, покорное, безмолвное отчаяние молодой женщины, мрачный вид старшей особы, чей взгляд хотя и говорит, что она чувствует себя неправой, вместе с тем выражает непоколебимую решимость не отступать от раз принятого пути...

– Если лицо этой леди выражает все эти чувства, любезный Тинто, – прервал я художника, – то твоя кисть перещеголяла драматический талант мистера Пуфа из «Критика»^[24], который кратко передал сложнейшую фразу выразительным покачиванием головы лорда Берли.

– Любезный друг Питер, – ответил мне на это Тинто, – ты, как видно, неисправим; тем не менее я снисходительно отнесусь к твоей тупости и не стану лишать тебя удовольствия понять мою картину, а заодно и приобрести тему для твоего пера. Да будет тебе известно, что прошлым летом, когда я писал этюды в Восточном Лотиане и Берикшире, я не удержался от соблазна посетить Ламмермурские горы, где, по рассказам, сохранились некоторые памятники старины. Особенно большое впечатление произвели на меня развалины древнего замка, где некогда находился этот, как ты назвал его, елизаветинский зал. Я остановился на несколько дней в соседнем селении, у женщины, превосходно знавшей историю замка и все происходившие там события. Одно из них показалось мне настолько интересным и необычным, что мною овладело сразу два желания: написать древние развалины на фоне гор и запечатлеть поразившее меня событие, о котором поведала мне старая крестьянка, на большом историческом полотне. Вот мои записи. – И с этими словами Дик протянул мне сложенные в пачку листы, на которых среди карикатур и эскизов башен, мельниц, старинных фронтонов и голубятен виднелись строчки, набросанные то карандашом, то пером.

Я принялся, как умел, разбирать рукопись, стараясь добраться до сути, и, почерпнув из нее историю, которую нынче предлагаю моим читателям, попытался, следуя, хотя и не вполне, совету моего друга Тинто, облечь ее в повествовательную, а не в драматическую форму. Все же моя любовь к диалогу иногда брала верх, и тогда мои герои, как и множество им подобных в нашем болтливом мире, больше говорят, нежели действуют.

Глава II

*Все ж, лорды, мы не завершили дела,
И недостаточно, что враг бежал,
Оправиться такой способен недруг.*
«Генрих VI», ч. II^[25]

В узком горном ущелье, что начинается от плодородной равнины Восточного Лотиана, возвышался некогда замок Рэвенсвуд, от которого ныне остались одни лишь развалины. Исконными его владельцами были могущественные и воинственные бароны, носившие то же имя, имя Рэвенсвудов. Они вели свою родословную с древнейших времен и находились в родственных связях с Дугласами, Юмами, Суинтонами, Геями и другими влиятельными и знатными родами Шотландии. История Рэвенсвудов тесно переплеталась с историей самой Шотландии – об их славных подвигах рассказано в ее летописях. Господствуя над горным проходом, соединившим Лотиан с графством Берик, или Мере, как называют юго-восточную провинцию Шотландии, замок Рэвенсвуд играл важную роль во время иноземных войн или междоусобных распрей; он не раз подвергался яростным атакам и с упорством выдерживал жестокие осады; естественно, что те, кому он принадлежал, занимали видное место в истории Шотландии. Но ничто не вечно в этом мире, и знаменитый род Рэвенсвудов испытал на себе превратности судьбы: во второй половине XVII века он пришел в упадок. Незадолго до революции^[26] последний из владельцев Рэвенсвудского замка был вынужден расстаться с древней цитаделью своих предков и поселиться в уединенной башне на пустынном берегу бурного Северного моря, между мысом Сент-Эбс-Хед и деревней Эймуг. Вокруг его нового жилища простирались заброшенные пастбища, составлявшие ныне все его достояние.

Лорд Рэвенсвуд, наследник этого обнищавшего рода, не желал примириться со своим новым положением. В междоусобной войне 1689 года^[27] он примкнул к побежденной стороне; его обвинили в государственной измене, и хотя ему оставили жизнь и имущество, но лишили титула, так что лордом называли его теперь только из любезности.

Однако, утратив титул и состояние предков, Аллан Рэвенсвуд унаследовал их гордость и буйный нрав, а так как он считал виновником падения своего рода некоего сэра Уильяма Эштона, купившего замок Рэвенсвуд со всеми принадлежавшими ему угодьями, которые теперь отошли от прежнего владельца, то и питал к нему лютую ненависть. Сэр Эштон происходил из рода менее древнего, чем лорд Рэвенсвуд, и приобрел богатство, равно как и политическое значение, во время междоусобной войны. Получив юридическое образование, он достиг высоких государственных должностей и слыл за человека, умеющего ловить рыбу в мутных водах государства, раздираемого борьбой партий и управляемого наместниками; действительно, в этой разоренной стране он необычайно искусно нажил огромное состояние и, зная цену богатству, а также различные способы приумножения его, ловко пользовался ими для увеличения своего могущества и влияния.

Одаренный подобными качествами и способностями, этот человек был опасным противником для неистового и безрассудного Рэвенсвуда. Имел ли Рэвенсвуд действительные основания для той ненависти, которую питал к новому хозяину своего родового замка, – это никому доподлинно не было известно. Одни говорили, что эта вражда не имела другой причины, кроме мстительного и злобного характера лорда Рэвенсвуда, который не мог спокойно видеть земли и замок своих предков в чужих руках, хотя они и попали в них в результате честной и законной продажи; но большая часть соседей, всегда склонных льстить сильным мира сего в глаза и осуждать их за глаза, придерживалась иного мнения. Они говорили, что лорд хранитель печати (ибо сэр Уильям Эштон достиг уже этой высокой должности) перед тем, как приобрести замок

Рэвенсвуд, имел с его бывшим владельцем какие-то денежные дела; и тут же, как бы невзначай и отнюдь ничего не утверждая, спрашивали, которая же из двух тяжущихся сторон обладала бóльшим преимуществом, чтобы решить в свою пользу денежные споры, возникшие в результате этих сложных дел: сэр Эштон, хладнокровный адвокат и искусный политик, или горячий, необузданный, опрометчивый Рэвенсвуд, которого тот вовлек во все эти тяжбы и ловко расставленные силки?

Положение общественных дел в Шотландии давало пищу для таких подозрений. «В те дни не было царя у Израиля»^[28]. С той поры как Иаков VI покинул Шотландию^[29], чтобы принять более богатую и более могущественную корону Англии, шотландская аристократия разделилась на враждебные партии, сменявшие друг друга у власти в зависимости от того, как им удавались их происки при сент-джеймском дворе^[30]. Бедствия, происходившие от этой системы правления, походили на несчастья, выпавшие на долю ирландских крестьян^[31], арендующих земли в поместьях, владельцы которых не живут в Ирландии. В стране не было верховной власти, общие интересы которой совпадали бы с интересами народа и к которой те, кого притесняли местные тираны, могли бы обращаться за милостью или правосудием. Каким бы бездельным или эгоистичным ни был монарх, как бы ни стремился он к самовластию, все же в свободной стране его собственные интересы так тесно переплетаются с интересами его подданных, а вредные последствия от злоупотреблений столь очевидны для него же самого, что здравый смысл побуждает его заботиться о равном для всех правосудии и упрочении престола на основах справедливости. Поэтому даже государи, прославившие узурпаторами и тиранами, оказывались ревностными защитниками правосудия во всех случаях, не ущемлявших их собственных интересов и могущества.

Совсем иначе обстоит дело, когда верховная власть оказывается в руках предводителя одной из аристократических партий, состоящего с вождем враждебной клики в погоне за славой. Он должен употребить свое непродолжительное и весьма шаткое правление на то, чтобы наградить приверженцев, упрочить свое влияние и расправиться с врагами. Даже Абу-Хасан^[32], самый бескорыстный из всех наместников, во время своего однодневного халифата не забыл послать домой тысячу золотых; шотландские же правители каждый раз, когда благодаря могуществу той или иной партии они захватывали власть, охотно прибегали к тому же средству, дабы вознаградить самих себя.

Особенно позорным пристрастием отличались суды. Едва ли существовало хотя бы одно мало-мальски значительное дело, в котором судьи не проявляли бы самого откровенного лицепрятия. Они так мало способны были устоять перед искушением, что в те времена даже сложилась поговорка, столь же распространенная, сколь и постыдная; «Скажи мне, кто жалуется, и я приведу соответствующий закон». Один вид подкупа вел к другому, еще более непристойному и гнусному. Судья, употреблявший свои священные обязанности сегодня для того, чтобы помочь приятелю, а завтра – чтобы погубить врага, руководствовавшийся при вынесении приговора родственными отношениями и политическими симпатиями, не мог не возбуждать подозрения в пристрастии, и потому естественно было предполагать, что кошелек богатого не раз перетягивал на свою сторону чашу весов правосудия. Мелкие слуги Фемиды брали взятки без зазрения совести. С целью повлиять на приговор судьям посылали серебряную утварь и мешки с деньгами; по словам одного современника, «пол судебной камеры был выложен взятками», и никто даже не думал это скрывать.

В подобных обстоятельствах имелись все основания считать, что сэр Уильям Эштон, государственный деятель, весьма опытный в вопросах судопроизводства, да к тому же еще влиятельный член победившей партии, сумел употребить свое положение, чтобы возобладать над менее искусным и удачливым противником. Но если даже предположить, что щепетильная совесть лорда-хранителя не позволила ему воспользоваться этими преимуществами, то можно не сомневаться, что леди Эштон всячески разжигала его честолюбие и стремление приумно-

жить свои богатства, точно так же, как некогда властолюбивая супруга поддерживала Макбета в его преступных замыслах.

Леди Эштон принадлежала к семейству более знатному, чем ее повелитель, – обстоятельство, которое она не преминула использовать как могла лучше, стремясь поддержать и увеличить влияние мужа на других и, как уверяли, хотя, возможно, и несправедливо, собственное влияние на него. В молодости она была красавицей, и ее осанка все еще поражала горделивым достоинством и величием. Природа одарила ее большими способностями и сильными страстями, а опыт научил пользоваться первыми и скрывать, если не сдерживать, последние. Она строго и непреклонно соблюдала все требования набожности, по крайней мере внешне, и радушно, даже с чрезмерной пышностью, принимала гостей; ее манеры, согласно обычаям того времени, были изысканны и величественны, как того требовали правила этикета; ее репутация была безупречна. Тем не менее, несмотря на все эти достоинства, способные внушить уважение, редко кто отзывался о леди Эштон с любовью или симпатией. Все ее поступки слишком явно диктовались соображениями выгоды – интересами ее семьи или личными ее интересами, – а показной добротой трудно обмануть проницательное, к тому же враждебно настроенное общество. А так как за всеми любезностями и комплиментами леди Эштон, словно ястреб, который, высоко кружась в воздухе, не теряет из виду намеченной жертвы, никогда не забывала о поставленной цели, то люди, равные ей по положению, относились к ее ласкам настороженно и подозрительно, а те, кто был ниже ее, кроме того, испытывали перед нею еще и страх; это было ей на руку в том отношении, что заставляло всех незамедлительно исполнять ее желания и беспрекословно повиноваться ее приказаниям; но в то же время вредило ей, ибо подобные чувства не уживаются с любовью или уважением.

Поговаривали даже, что муж леди Эштон, столь многим обязанный талантам и ловкости своей супруги, смотрел на нее скорее с почтительным благоговением, нежели с нежной привязанностью; по мнению многих, у него не раз являлась мысль, что домашнее рабство, которым он заплатил за успех в свете, несоразмерно дорогая цена. Впрочем, все это были лишь пустые подозрения, с уверенностью же никто ничего не мог бы сказать, ибо леди Эштон дорожила честью мужа не менее, чем своей собственной, и, отлично понимая, как много он теряет в глазах общества, если будет казаться, что он находится в подчинении у жены, при каждом удобном случае приводила его мнения как непогрешимые, постоянно ссылаясь на его вкус и слушала его речи с тем уважением, с каким почтительная жена обязана внимать мужу, обладающему столь несравненными достоинствами и занимающему столь высокое положение в свете. Но во всем этом было что-то показное и фальшивое; и от тех, кто внимательно и, быть может, не без злорадства наблюдал за этой четой, не могло укрыться, что леди Эштон, отличаясь более твердым характером, более высоким происхождением и более неутолимой жадностью славы, относилась к мужу с некоторым презрением, тогда как он питал к ней скорее зависть и страх, нежели любовь и уважение.

Впрочем, в главном цели и желания сэра Уильяма Эштона и его супруги обычно совпадали, а потому они всегда действовали согласованно; внешне они всегда оказывали друг другу глубокое почтение, прекрасно зная, что без этого нельзя рассчитывать на уважение других.

Небо благословило их союз несколькими детьми, из которых в живых осталось только трое. Старший сын в то время путешествовал по континенту; дочь, которой недавно минуло семнадцать лет, и младший сын, тремя годами моложе сестры, жили с родителями в Эдинбурге во время сессии шотландского парламента и Тайного совета, остальные же месяцы семья проводила в готическом замке Рэвенсвуд, который сэр Уильям значительно расширил и изменил в стиле XVII столетия.

Аллан лорд Рэвенсвуд, прежний владелец этого древнего замка и прилежащих к нему обширных угодий, в течение нескольких лет тщетно пытался продолжить борьбу со своим преемником, цепляясь за различные спорные вопросы, возникшие в результате прежних запу-

танных тяжб; но все они один за другим были решены в пользу богатого и влиятельного лорда – хранителя печати. Смерть прекратила наконец их нескончаемые распри, призвав лорда Рэвенсвуда на высший суд. Нить его тревожной жизни внезапно прервалась во время припадка страшного, но бессильного гнева, вызванного известием о том, что еще один процесс, затеянный скорее ради отвлеченной справедливости, нежели ради дела, – последний процесс против могущественного врага – был им проигран. Молодой Рэвенсвуд присутствовал при последних минутах отца и слышал проклятия, которыми умирающий осыпал своего противника, как бы завещая сыну отплатить злом за зло. К несчастью, последующие события еще усилили в юноше жажду мести – чувство, которое в течение долгого времени оставалось одним из худших пороков шотландцев.

В раннее ноябрьское утро, когда скалы, нависшие над морем, были окутаны густым туманом, ворота в древней, полуразвалившейся башне, где лорд Рэвенсвуд провел последние тяжкие годы своей жизни, отворились и пропустили его бранные останки, направлявшиеся к жилищу еще более мрачному и уединенному. Пышность, которую в продолжение многих лет уже не знал покойный, вновь окружила его перед тем, как он был предан забвению.

Многочисленные флаги с гербами и девизами старинного рода Рэвенсвудов и близких ему родов развевались над погребальным шествием, выходявшим из-под низких сводов башенных ворот. Знатнейшие дворяне страны, облаченные в глубокий траур, ехали длинной кавалькадой, сдерживая поступь резвых коней. Трубы, украшенные черным крепом, издавали протяжные печальные звуки, и под эту грустную музыку провожавшие медленно двигались вперед. Многочисленная толпа менее знатных соседей и слуг замыкала шествие, и в то время как голова процессии достигла часовни, где предстояло покоиться телу Аллана Рэвенсвуда, последние ряды ее еще не вышли из ворот.

Вопреки обычаям и даже законам того времени, процессию ожидал священник шотландской епископальной церкви^[33] в полном облачении, чтобы совершить отпевание по своим обрядам. Таково было желание покойного, высказанное им в последний год его жизни, и партия тории, или кавалеров^[34], как им нравилось называть себя, к которой принадлежала большая часть родственников и друзей лорда Рэвенсвуда, сочла своим долгом непременно исполнить его волю. Однако пресвитерианское духовенство, полагавшее, что исполнение этого желания явится дерзким вызовом могуществу их церкви, обратилось к лорду-хранителю с просьбой запретить предстоящую церемонию. Поэтому не успел священник открыть молитвенник, как судебный пристав в сопровождении нескольких вооруженных людей приказал ему замолчать.

Это дерзкое оскорбление возбудило негодование всех присутствующих и встретило немедленный отпор со стороны сына покойного, Эдгара, молодого человека лет двадцати, которого называли мастером Рэвенсвудом^[35]. Эдгар схватился за шпагу и, угрожая приставу немедленной расправой, велел пастору продолжать. Пристав хотел было настоять на исполнении приказа, но несколько десятков мечей сверкнуло в воздухе, и ему ничего не оставалось, как, высказав свое возмущение примененным к нему, представителю закона, насилием, отойти в сторону и молча наблюдать за происходящей церемонией; однако мрачное лицо его ясно говорило: «Вы еще будете проклинать тот день, в который так обошлись со мной».

Эта сцена была достойна кисти художника. Под сводами чертога смерти перепуганный священник, дрожа за свою жизнь, торопливо и невнятно бормотал слова заупокойной молитвы над бездыханными останками разбитой гордости и поблекшего богатства, над перстью земной, обратившейся в земную персть. Кругом стояли родственники покойного; их лица были омрачены скорее гневом, нежели горем, и обнаженные их мечи странно противоречили их траурной одежде. Только в лице Эдгара негодование, казалось, уступало место глубокой скорби, – он смотрел на мертвые черты своего лучшего и, пожалуй, единственного друга, прах которого ожидала могила предков. По окончании погребального обряда он, как сын и наследник, должен был перенести останки в склеп. При виде гниющих гробов, покрытых лохмотьями бархата и

почерневшей позолотой, среди которых отныне предстояло тлеть телу его отца, юноша побледнел как смерть. Один из родственников подошел к нему, предлагая свою помощь, но Эдгар знаком отказался от нее. Твердой рукой и без единой слезы он выполнил последний сыновний долг. На могилу водрузили камень, дверь усыпальницы заперли, и молодому человеку вручили массивный ключ.

Выйдя из часовни, Эдгар остановился на ступенях и, обращаясь к друзьям и родственникам, сказал:

– Джентльмены и друзья, вы отдали сегодня последний долг покойному не совсем обычным образом. Если бы вы мужественно не встали на его защиту, вашему родственнику, принадлежавшему не к последним родам Шотландии, было бы отказано в обрядах, которыми в любой другой стране пользуются самые бедные крестьяне. Другие хоронят своих усопших в слезах и скорби, в почтительном молчании; но наши молитвы были прерваны приставами и насильниками; и наша скорбь – скорбь о почившем друге – уступает место чувству справедливого негодования. Но мне известен лук, из которого пущена эта стрела. Только тот, чья рука вырыла эту могилу, только он с подлой жестокостью мог нарушить обряд погребения. Будь я проклят, если не отомщу этому человеку и его семейству за наше разорение и за бесчестье, нанесенное нашему роду!

Большинство присутствующих одобрило эту речь как красноречивое выражение справедливого гнева; но более осторожные и благоразумные пожалели, что молодой Рэвенсвуд высказался так резко. Положение Эдгара было слишком тяжким, чтобы возобновлять давнюю вражду, а столь открытое выражение негодования, казалось, неминуемо распалит ее вновь. События, однако ж, не оправдали этих опасений, по крайней мере в ближайшее время.

С похорон гости возвратились в башню, где, по обычаю, лишь недавно упраздненному в Шотландии, принялись пить и поминать покойного, оглашая дом скорби громкими криками и смехом. Они пировали, уничтожая обильное и богатое угощение, на которое были истрачены скудные доходы наследника того, чье погребение отмечалось столь странным образом. Но таков был обычай, и его надлежало свято блюсти. В залах, где угощались знать, вино лилось рекой, в кухне и буфетной бражничали фермеры, простой народ гулял во дворе, и двухгодового оброка с небольшого поместья Рэвенсвуда едва хватило, чтобы покрыть расходы на погребальное пиршество. Вскоре все опьянели, кроме мастера Рэвенсвуда (как продолжали называть юношу, хотя отец его лишился принадлежавшего ему титула), и, пуская по кругу кубок, к которому сам он почти не прикасался, Эдгар выслушал тысячи проклятий лорду – хранителю печати и тысячи уверений в преданности себе и своему знатному роду. Мрачный и задумчивый, слушал он все эти излияния, справедливо считая их столь же преходящими, как пена в бокале вина или винные пары, туманившие головы пировавших вокруг него гостей.

Осушив последнюю флягу, гости распростились с новым владельцем башни, расточая пламенные уверения в дружбе – уверения, которые на следующий же день спешат забыть, если, более того, не считают нужным отречься от них для пущей безопасности.

Рэвенсвуд проводил гостей, с трудом сдерживая презрительную улыбку. Дождавшись наконец минуты, когда его старый дом избавился от множества шумных посетителей, он возвратился в зал, показавшийся ему особенно мрачным и безмолвным после недавнего шума и крика. Впрочем, зал этот вскоре наполнился видениями, вызванными его собственным воображением, – тут были попорченная честь и развеянное достояние его рода, крушение его собственных надежд и торжество того, кто разорил его семью. Меланхолическому уму молодого Рэвенсвуда открылась обширная область для глубоких и печальных размышлений.

Местные жители, показывая ныне развалины башни на вершине утеса, омываемого морскими волнами и населенного лишь чайками да бакланами, уверяют, что именно в эту роковую ночь молодой Рэвенсвуд своими отчаянными сетованиями вызвал нечистого духа, пагубное влияние которого впоследствии сказалось на всей его жизни. Увы! Ни один адский дух

не способен побудить нас к таким гибельным поступкам, как наши собственные неистовые, необузданные страсти.

Глава III

*«Помилуй бог, – сказал король, –
Чтоб ты стрелял в меня».*
«Уильям Белл, Клайм из Клю и др.»^[36]

На следующее утро после похорон судебный пристав, власть которого оказалась недостаточной, чтобы запретить совершение погребальных обрядов над останками лорда Рэвенсвуда, поспешил доложить лорду-хранителю о сопротивлении, оказанном ему при исполнении служебных обязанностей.

Сэр Эштон принял его в библиотеке – просторной комнате, во времена Рэвенсвудов служившей банкетным залом; гербы этого древнего рода все еще украшали цветные стекла окон и резной потолок из испанского каштана. Проникавшие в комнату лучи освещали длинные ряды полок, гнувшихся под тяжестью огромных томов – монастырских хроник и сочинений ученых судей, составлявших в те времена основную и важнейшую часть библиотеки шотландского историка. На большом дубовом столе и на пюпитре разбросаны были письма, прошения, документы – главная отрада, равно как и мучение жизни сэра Уильяма Эштона. У него была внушительная, даже благородная осанка, вполне под стать человеку, занимавшему столь высокую должность в государстве; и лишь после долгого, обстоятельного разговора, касающегося срочного и неотложного дела, проситель мало-помалу начинал замечать, что лорд-хранитель избегает высказывать свое мнение решительно и определенно. Это происходило от присущей ему чрезмерной осторожности и нерешительности – черты характера, которую он тщательно скрывал, отчасти из гордости, отчасти по расчету.

Лорд-хранитель, казалось, очень спокойно выслушал сильно приукрашенный рассказ о беспорядках, происшедших на похоронах лорда Рэвенсвуда, и о том, с каким неуважением отнеслись к его приказаниям, отданным от имени церкви и государства; он, по-видимому, остался совершенно равнодушен, когда пристав довольно точно пересказал все гневные и бранные слова, произнесенные в его адрес молодым Рэвенсвудом и его приятелями; наконец он с тем же невозмутимым спокойствием выслушал собранные приставом сведения – весьма искаженные и преувеличенные – о тостах, предложенных на погребальном пиршестве, и прозвучавших там угрозах. Однако он тщательно записал все подробности и имена тех, кого в случае надобности можно будет привлечь к делу в качестве свидетелей, и отпустил доносчика, убежденный в том, что теперь остатки достоинства и даже личная свобода молодого Рэвенсвуда в его руках.

После того как пристав ушел, лорд-хранитель несколько минут сидел неподвижно, погружившись в глубокое раздумье. Затем, поднявшись со стула, он принялся шагать по комнате с видом человека, обдумывающего важное решение.

– Ну, теперь уж молодой Рэвенсвуд попался! – рассуждал он сам с собой. – Да, попался! Он сам отдался мне в руки. Теперь ему остается или смириться, или погибнуть. Я не забыл, с каким неотступным и злобным упорством его отец боролся со мной во всех инстанциях шотландских судов, как он отказывался от всех миролюбивых предложений, навязывая мне новые тяжбы, и как пытался опорочить мое доброе имя, когда увидел, что права мои неоспоримы. Этот мальчишка, его сын, этот Эдгар, этот вспыльчивый, безмозглый идиот, посадил свой корабль на мель, еще не выйдя в море. Что ж, остается позаботиться только о том, чтобы новая волна не помогла ему vyplыть. Если полученное мною донесение представить Тайному совету в надлежащем виде, речи молодого Рэвенсвуда будут поняты там не иначе, как призыв к бунту против гражданских и духовных властей. Дело кончится большим штрафом, а то и приказом о заключении в Эдинбургскую или Блэкнесскую крепость; пожалуй, кое-какие слова

и выражения этого молодчика пахнут государственной изменой. Но я не хочу заходить так далеко!.. Нет, этого я не сделаю. Я не стал бы лишать его жизни, будь это даже в моей власти. А впрочем, если этот Рэвенсвуд доживет до новых перемен, чего только нельзя от него ожидать: он постарается вернуть себе права и имение, возможно, будет даже мстить мне. Насколько мне известно, Этол обещал поддержку старику Рэвенсвуду, и вот его сынок уже произносит крамольные речи и сколачивает вокруг себя сторонников. Каким удобным орудием он может оказаться в руках наших врагов, которые только и ждут нашего падения!

Поразмыслив над всеми этими обстоятельствами и убедив себя в том, что не только его собственные интересы и безопасность, но также интересы и безопасность его партии и приверженцев требуют от него дать ход попавшим к нему в руки уликам против Рэвенсвуда, хитрый политик сел за стол и принялся строчить докладную записку Тайному совету, подробно описывая беспорядки, имевшие место на похоронах лорда Рэвенсвуда. Лорд-хранитель превосходно знал, что даже имена участников этого происшествия, не говоря уже о самом факте, вызовут негодование его коллег, и они, по всей вероятности, пожелают примерно наказать молодого Рэвенсвуда, хотя бы *in terrorem*⁷.

При всем том лорду-хранителю предстояло дело весьма щекотливое – ему нужно было составить свой доклад в таких выражениях, которые, не оставляя сомнения в виновности молодого человека, не звучали бы слишком определенно – в устах сэра Эштона, исконного врага отца Рэвенсвуда, это могло бы показаться проявлением личной злобы и ненависти. И вот как раз когда сэр Уильям трудился, подыскивая слова, достаточно веские, чтобы представить Рэвенсвуда зачинщиком происшедших волнений, и достаточно уклончивые, чтобы не выдвигать против него прямого обвинения, он на мгновение оторвался от бумаг и взгляд его упал на родовой герб семейства, против наследника которого он точил свои стрелы и расставлял тенета закона. Этот герб, вырезанный на одной из капителей, расположенных под сводом, представлял голову черного быка с девизом: «Я выжидаю свой час!» – и мысли лорда-хранителя невольно обратились к событию, побудившему Рэвенсвудов принять этот странный девиз.

Существовало предание, что в XIII веке могущественный враг лишил Мэлизиуса де Рэвенсвуда его владений и в течение некоторого времени безнаказанно наслаждался плодами одержанной победы. Однажды, когда в доме готовился праздник, не перестававший подстерегать удобный случай Мэлизиус проник в замок вместе с несколькими преданными друзьями. Гости с нетерпением ожидали начала пира, но, когда хозяин кичливо приказал внести блюда, Рэвенсвуд, переодетый лакеем, ответил грозным голосом: «Я выжидаю свой час!» – и в тот же миг на столе появилась бычья голова – древний символ смерти. По этому сигналу заговорщики набросились на узурпатора и его приверженцев и перебили всех до единого.

Вероятно, воспоминание об этой истории, охотно и часто передаваемой из уст в уста, неприятно поразило чувства и задело совесть лорда-хранителя, ибо, отстранив от себя бумагу с начатым докладом, он встал, собрал исписанные листы, тщательно уложил их в ящик бюро и, заперев его, вышел из комнаты, очевидно желая собраться с мыслями и взвесить все возможные последствия предпринимаемого им шага, прежде чем они станут неизбежными.

Проходя через большой готический зал, сэр Уильям Эштон услышал звуки лютни, на которой играла его дочь. Музыка, особенно когда не видно исполнителя, вызывает у нас удовольствие, смешанное с удивлением, и напоминает пение птиц, скрытых от взора пышной листвой. Хотя наш государственный муж не привык предаваться столь простым и естественным чувствам, он все же был человек, и к тому же отец. Он остановился и стал слушать серебряный голосок Люси, исполнявшей под аккомпанемент лютни неизвестный ему романс, написанный на старинный народный мотив:

⁷ Для устрашения (лат.).

Не обращай к красоте взоров,
Держись вдали от бранных споров,
Не пей из чаши круговой,
Молчи пред внемлющей толпой,
Не слушай сладостного пенья,
Не ведай к золоту влечения
И сердце наглухо запри –
Легко живи, легко умри.

Лорд-хранитель дослушал песню и вошел в комнату дочери.

Слова романа, казалось, как нельзя лучше подходили к Люси Эштон. Она была необычайно хороша собой, и ее по-детски милые черты выражали глубокое душевное спокойствие, безмятежность и полное равнодушие к суете светских удовольствий. Разделенные прямым пробором темно-золотистые волосы обрамляли чистый белый лоб, словно солнечные лучи, озаряющие снежную вершину; прелестное лицо отличалось удивительной нежностью, кротостью и чарующей женственностью; казалось, она скорее готова пугливо прятаться от посторонних взглядов, чем искать восторженного поклонения. Люси чем-то напоминала Мадонну; возможно, это сходство объяснялось тем, что она была хрупкого сложения и окружена людьми, превосходившими ее твердостью характера, энергией и силой воли.

Недостаток живости, присущий Люси, происходил отнюдь не от безразличия или тем паче от бесчувственности. Она была предоставлена самой себе, а вкусы и склонности влекли ее ко всему романтическому. Она любила старинные легенды, повествующие о пылкой преданности и вечной любви, о необычайных приключениях и сверхъестественных ужасах. Она жила в этом сказочном мире, воздвигая воздушные замки и храня в глубокой тайне ключ от милого сердцу царства грез. Уединившись в своей комнате или в беседке излюбленное место Люси, которое даже стали называть ее именем, – она предавалась мечтам: то она воображала себя королевой турнира, раздающей награды победителям, то дарила рыцарей воодушевляющим взглядом, то под защитой доброго льва блуждала вместе с Уной^[37] по нехоженным тропам, то, представив себя на месте благородной Миранды^[38], скиталась по острову чудесных превращений и колдовских чар.

Но в обыденной жизни Люси легко поддавалась влиянию окружающих. Чаще всего ей было совершенно безразлично, как поступить, и она не противясь охотно склонялась к решениям, подсказанным ей родней, возможно потому, что не имела собственных. Вероятно, каждому из наших читателей приходилось встречать в знакомых семьях подобное слабое, податливое существо, которое, находясь среди людей более твердых и энергичных, послушно следует чужой воле, словно уносимый бурным течением цветок. Обычно такие кроткие, смиренные создания, безропотно ступающие по указанной им стезе, становятся любимцами тех, кому приносят в жертву собственные наклонности.

Так было и с Люси Эштон. Ее отец, осторожный политик и светский человек, питал к ней такую глубокую привязанность, что иногда даже сам удивлялся силе этого чувства. Старший брат Люси, отличавшийся еще большим честолюбием, чем отец, любил сестру всей душой. Забияка и кутила, капитан Шолто предпочитал общество сестры всем удовольствиям и воинским почестям. Младший брат, находившийся в том возрасте, когда ум занят еще пустяками, поверял сестре все свои детские радости и опасения, рассказывал ей об охотничьих успехах, о неприятностях и спорах с наставниками и учителями. Люси терпеливо и даже сочувственно выслушивала его болтовню, как бы она ни была незначительна. Добрая сестра, она знала, что все эти мелочи волнуют и занимают мальчика, и этого было для нее достаточно, чтобы дарить его своим вниманием.

Из всей семьи только мать не разделяла общей любви к Люси. По мнению леди Эштон, недостаток твердости характера у дочери доказывал преобладание в ее жилах плебейской крови отца, и в насмешку она называла ее ламмермурской пастушкой. Хотя невозможно было относиться недоброжелательно к столь нежному и кроткому созданию, леди Эштон предпочитала Люси старшего сына, унаследовавшего всю надменность и честолюбие матери; чрезмерная мягкость дочери казалась ей признаком недостатка ума. Пристрастие леди Эштон к старшему сыну имело еще и другую причину: вопреки обычаю знатных шотландских семейств, старшего сына нарекли именем деда по матери.

– Мой Шолто, – говорила она, – сохранит незапятнанной честь материнского рода, возвысит и прославит имя отца. Бедная Люси не рождена для двора или большого света. Надо выдать ее замуж за какого-нибудь лэрда, достаточно богатого, чтобы она могла жить с ним в довольстве, ни в чем не нуждаясь и ни о чем не тревожась, разве что о том, как бы муж не сломал себе шею, охотясь за лисицами. Но не деревенскими забавами возвысился наш дом и не ими можно укрепить и приумножить его славу. Сэр Эштон только недавно вступил в должность лорда хранителя печати: мы должны занимать наше высокое положение так, словно привыкли к его величию; вам надлежит доказать, что мы достойны оказанной нам чести и способны поддерживать и оправдать ее. Перед теми, кто веками стоит у кормила власти, люди склоняются из привычного и наследственного почтения; но нам они не станут кланяться, если мы сами не повергнем их ниц. Молодая девушка, которая годится разве что для пастушеской идиллии или монастыря, едва ли сумеет добиться почтения там, где надо его приобрести силой; и раз уж судьба не послала нам троих сыновей, она могла бы по крайней мере наделить Люси сильным характером и сделать ее достойной занять место сына. Право, я буду очень счастлива, когда мне удастся выдать ее замуж за такого человека, у которого энергии хватит на них двоих, или за такого же мямлю, как она сама.

Так рассуждала мать, для которой нравственные качества детей и будущее их счастье ничего не значили в сравнении с почестями и преходящей славой. Но ее суждения о дочери, как это нередко случается с родителями, в особенности если они не в меру надменны и нетерпеливы, были совершенно ошибочны. Под видимостью крайнего равнодушия в характере Люси таилось семя пламенных страстей, которое, подобно тыкке пророка, способно взрасти за одну ночь^[39], поражая окружающих неистовой силой. Если Люси казалась безразличной, то лишь потому, что пока еще ничто не пробудило чувств, дремавших в ее груди. Ее жизнь до этих пор текла спокойно и однообразно и, возможно, прошла бы счастливо, если бы это спокойное течение не напоминало собой поток, несущий свои воды к водопаду.

– Что же, Люси, – обратился к ней отец, входя в комнату, когда девушка кончила петь, – сочинитель этого романса учит тебя презирать свет, прежде чем ты узнала его. Не слишком ли это поспешно? Впрочем, ты, быть может, говоришь так по примеру многих девушек, которые стараются выказывать равнодушие к удовольствиям жизни, пока какой-нибудь прекрасный рыцарь не убедит их в противном?

Люси вспыхнула и стала уверять, что пела романс, ничего не имея в виду; по желанию отца она немедленно положила лютню и встала, чтобы пойти с ним гулять.

Большой тенистый парк (мало чем отличавшийся от настоящего леса) расстилался по склонам горы, подымавшейся позади замка, который, как мы уже говорили, стоял в горном проходе, начинавшемся от равнины, и, казалось, затем и был воздвигнут в этом ущелье, чтобы охранять густые дубравы, видневшиеся вдали во всем великолепии своего пышного убора. К этим романтическим местам по широкой аллее, осененной раскидистыми вязами, сплетавшими ветви над их головами, теперь рука об руку направились отец и дочь. Сквозь деревья тут и там виднелись группы пасущихся ланей. Гуляя по парку и любуясь природой – сэр Уильям Эштон, несмотря на характер своих обычных занятий, умел ценить и понимать прекрасное, –

они повстречали лесничего, иначе называвшегося хранителем парка. С арбалетом на плече он направлялся в чащу леса на охоту; мальчик вел за ним собаку на сворке.

– А! Норман, – сказал сэр Уильям в ответ на приветствие лесничего, – собираетесь попотчевать нас олениной?

– Точно так, ваша милость. Не угодно ли присутствовать при травле?

– Нет, нет, – ответил сэр Уильям, взглянув на дочь, побледневшую при одной мысли об истекающем кровью олене, хотя, если бы отец выразил желание сопровождать Нормана, она безропотно последовала бы за ним.

– Как жаль, – сказал лесничий, пожимая плечами, – что никто из господ не хочет даже взглянуть на охоту. Одна надежда, что капитан Шолто скоро возвратится, иначе хоть бросай все это дело. Конечно, мистер Генри рад бы оставаться в лесу с утра до ночи, но его столько заставляют просиживать за этой дурацкой латынью, что он теперь совсем пропащий человек, и не выйдет из него настоящего мужчины. Не так, говорят, было во времена покойного лорда Рэвенсвуда: тогда на травлю оленя сбегались и стар и мал, а когда нужно было прикончить зверя, охотничий нож подавали самому лорду, и уж меньше золотого он никогда не давал в награду. А Эдгар Рэвенсвуд – мастер Рэвенсвуд – так о нем прямо можно сказать, что со времени Тристрама^[40] не было лучше охотника. Уж если он бьет, так без промаха. А у нас здесь совсем забросили охоту.

Болтовня лесничего пришлась лорду-хранителю не по вкусу. Он не мог не заметить, что его слуга почти открыто презирал его за равнодушие к охоте, любовь к которой в ту эпоху считалась врожденным и неотъемлемым свойством настоящего джентльмена. Но главный лесничий считается весьма важным человеком в замке и имеет право говорить, не стесняясь в выражениях, а потому сэр Уильям только улыбнулся в ответ, сказав, что сегодня ему предстоит дело поважнее охоты, и тут же, в виде поощрения, вынул кошель и дал лесничему золотой. Норман принял деньги с таким видом, с каким прислуга в модной гостинице получает двойные чаевые от какого-нибудь деревенского простака, – он усмехнулся, и в его улыбке выразилось не столько удовольствие, сколько презрение к невежеству щедрого господина.

– Ваша милость не знает дела, – сказал он, – разве можно платить до того, как зверь убит? А ну как, получив награду, я промахнусь и не убью оленя?

– Пожалуй, вы едва ли поймете меня, – улыбнулся лорд-хранитель, – если я скажу вам о *conditio indebiti*⁸.

– Нет, клянусь честью! Это, наверно, какое-нибудь судебское изречение. Только я скажу: с бедняком судиться... Вашей милости, конечно, известна эта пословица. Впрочем, я поступлю по справедливости, и если кремень не даст осечки, а порох не подведет, у вас будет славное жаркое! На груди не меньше чем в два пальца толщиной.

Норман хотел было удалиться, но сэр Уильям окликнул его и как бы невзначай спросил, действительно ли молодой Рэвенсвуд так храбр и такой хороший стрелок, как о нем говорят.

– Храбр ли он? – повторил Норман. – Уж за это я ручаюсь. Я был однажды на охоте со старым лордом в Тайнингеймском лесу. Туда съехалось тогда много господ, Мы травили оленя и, клянусь честью, сами оторопели, когда его увидели. Огромный матерый самец с новыми рогами в десять ветвей, а лбище – широкий, словно у быка. Он кинулся на старого лорда, и, пожалуй, пришлось бы королю назначать нового пэра, если бы Эдгар, – а ему тогда было всего шестнадцать лет, благослови его Бог, – не бросился на зверя и не распорол ему брюхо охотничьим ножом.

– А что, он и стрелок такой же ловкий?

⁸ Условия взыскания непричитающегося (лат.).

– Видите эту монету, которую я держу двумя пальцами? Так вот, он попадает в нее с восьмидесяти шагов, и я не побоюсь подержать ее для него. Чего же лучше? Глаз, рука, свинец и порох не способны на большее.

– Конечно, этого совершенно достаточно. Но мы отвлекаем вас от дела, любезнейший Норман. Доброго пути, Норман, доброго пути!

Лесничий пошел своей дорогой, напевая вполголоса народную песенку, звуки которой мало-помалу замерли вдали:

К заутрене должен подняться монах,
Аббат же спит до утра,
Но йомен – чуть рог прозвучит, на ногах,
Пора, друзья, пора.
Немало косуль в Шервудском лесу,
В Билопе стада оленьи,
Но белая лань в рассветную рань
Бродит от них в отдаленье.

– М-да, – сказал лорд-хранитель, когда ветер перестал доносить до них звуки песенки. – Вероятно, этот Норман служил раньше Рэвенсвудам, что он их так расхваливает? Ты, должно быть, что-нибудь знаешь о нем, Люси? Ведь ты считаешь своим долгом интересоваться каждым, кто живет в замке и его окрестностях.

– О нет, отец, я совсем не такой уж хороший летописец, как вы полагаете. Но если я не ошибаюсь, Норман мальчиком служил в замке Рэвенсвуд, а потом уехал в Ледингтон, где вы его наняли. Если же вам нужны какие-либо сведения о Рэвенсвудах, то никто не знает о них больше, чем старая Элис.

– Помилуй, дитя мое! Что мне до них? Какое мне дело до их истории и доблестей?

– Право, не знаю, отец, но вы только что расспрашивали Нормана о молодом Рэвенсвуде.

– Пустое, дитя мое, пустое, – произнес лорд-хранитель, однако через минуту добавил: – А кто такая эта Элис? Ты, кажется, знаешь всех здешних старух?

– Конечно, отец, иначе как бы я могла помогать им в нужде. Что же касается Элис, то это – самая замечательная из всех местных женщин: нет такого предания, которого бы она не знала. Она слепа, бедняжка, но когда говоришь с ней, кажется, что она читает в тайниках сердца. Иногда мне хочется закрыть лицо рукой или отвернуться, потому что мне чудятся: она видит, как я краснею, хотя вот уже двадцать лет, как она слепа. О, к ней стоит пойти, отец, хотя бы для того, чтобы увидеть, что слепая, парализованная женщина способна обладать такой остротой чувств и таким достоинством. Право, она говорит и держит себя как графиня. Пойдемте к Элис, отец. Отсюда всего лишь четверть мили до ее домика.

– Но ты не ответила на мой вопрос, Люси: кто эта женщина и какое отношение она имеет к прежним владельцам замка Рэвенсвуд?

– Кажется, она была у них кормилицей. Она живет здесь потому, что двое ее внуков у вас в услужении. Но мне думается, что это ей не очень нравится: бедная старуха всегда оплакивает былое время и своих старых господ.

– Весьма ей признателен: она и ее дети едят мой хлеб и пьют мой эль, а она сожалеет о семействе, которое ни себе, ни другим не принесло никакой пользы.

– Вы несправедливы к Элис, отец: она совсем не корыстолюбива и скорее умерла бы с голоду, чем приняла бы от кого-нибудь пенни. Она просто словоохотлива, как все старики, особенно когда заговоришь с ними об их молодости. И она любит говорить о Рэвенсвудах, потому что долго жила у них. Но я уверена, что она очень благодарна вам за все ваши милости

и будет говорить с вами охотнее, чем с кем бы то ни было другим. Пойдемте же к ней, отец, пожалуйста, пойдемте.

И с той вольностью, какую может позволить себе только дочь, знающая, что она нежно любима, Люси повлекла отца по тропинке, ведущей к жилищу старой Элис.

Глава IV

*Над чащей вдруг ее приметил взор
Дымок, который тонкою струею
Легко стремился в голубой простор
И ей приятный знак являл собою,
Что где-то близко существо живое.*
Спенсер⁴¹¹

Люси служила проводником отцу, который за множеством политических и государственных дел почти не знал своих собственных обширных владений. К тому же он обычно безвыездно жил в Эдинбурге, а Люси вместе с матерью проводила лето в Рэвенсвуде; и отчасти потому, что любила природу, а может быть, потому, что не знала других занятий, с утра до вечера гуляла в окрестностях замка, так что не было такой дороги, тропинки, холма или куста, которых бы она не знала.

Как уже говорилось, лорд-хранитель не был равнодушен к красотам природы, и справедливости ради следует добавить, что он наслаждался ими вдвойне, идя по лесу в обществе своей прелестной, непосредственной и такой привлекательной дочери, нежно опиравшейся на его руку. Люси приглашала его то взглянуть на гигантский вековой дуб, то полюбоваться неожиданным поворотом причудливо извивавшейся среди холмов и долин тропинки, которая, начавшись в ущелье, неожиданно привела их на высокое место, откуда открывался вид на лежащие внизу равнины, а потом, снова скользнув вниз, теряясь среди скал и лесной чащи, увлекла в места, еще более уединенные.

Остановившись на одной из возвышенностей, Люси сказала отцу, что они находятся в двух шагах от домика слепой старухи; и действительно, обогнув невысокий холм по узенькой тропинке, протоптанной бедной Элис, они увидели ютившуюся в темном, мрачном ущелье лачугу, почти так же лишенную света, как и глаза ее обитательницы.

Эта лачуга была построена у подножия крутого утеса, который, казалось, угрожал раздавить лепившееся под ним убогое жилище. Стены хижины были сложены из торфа и камня, а крыша, кое-как прикрытая дерном, совсем прохудилась. Легкий голубоватый дымок, поднимающийся из трубы вдоль белого утеса, придавал всей картине какую-то особую мягкость. В маленьком запущенном саду, обсаженном неподстриженными кустами бузины – подобие живой изгороди, – подле ульев, доставлявших ей средства к жизни, сидела та «старуха вещая», к которой Люси и вела своего отца. Какие бы несчастья ни выпали на долю бедной Элис, каким бы жалким ни казалось сейчас ее жилище, достаточно было одного взгляда, чтобы понять что ни годы, ни нищета, ни испытания, ни болезни не смогли сломить мужественный дух этой замечательной женщины.

Элис сидела на дерновой скамье под плакучей ивой, необычайно раскидистой и очень старой; вид у нее был торжественный и в то же время грустный – таким обычно изображают Иуду под пальмами. Она была высокого роста, и годы только слегка согнули ее величавый стан. Ее простое крестьянское платье отличалось удивительной опрятностью, что нечасто встречается среди людей ее сословия; оно было сшито аккуратно и даже со вкусом, что также казалось необычным. Но более всего поражало выражение лица этой женщины: в нем таилось что-то такое, что заставляло посетителей жалкой лачуги обращаться с ее хозяйкой не иначе как с почтением и учтивостью, и она спокойно принимала это как должное. Некогда она была красавицей, но красота ее происходила от бесстрашного, мужественного характера, а такая красота не переживает молодости; тем не менее в ее чертах запечатлелись сильные чувства, глубокий ум и гордый нрав – все это, так же как и ее одежда, говорило о сознании превосходства над

окружающими ее людьми. Казалось почти невероятным, чтобы лицо, лишенное зрения, могло с такой силой выражать характер человека; однако глаза Элис по большей части были закрыты и своими невидящими зрачками не нарушали общего впечатления. Убаюканная жужжанием пчел, слепая, по-видимому, погрузилась в забытие, но это не был сон.

Люси отворила калитку маленького сада и, обращаясь к старухе, сказала:

– Мой отец пришел проводить вас, Элис.

– Милости просим, мисс Эштон, милости просим и его и вас также, – ответила Элис, поворачиваясь к гостям и кланяясь.

– Славное утро для ваших пчел, матушка, – сказал лорд-хранитель, пораженный наружностью этой женщины и желая удостовериться, соответствует ли речь слепой ее внешности.

– Кажется, так, милорд. Воздух, чувствую я, теплее, чем в последние дни.

– Неужели вы сами занимаетесь пчелами, матушка? Как вы управляете ими?

– Как короли управляют своими подданными: через доверенных лиц. Мне повезло с моим премьер-министром. Эй, Бейби!

С этими словами Элис поднесла к губам серебряный свисток, висевший у нее на шее, – тогда часто пользовались свистком, чтобы позвать слугу, – и из дома выбежала девочка лет пятнадцати, одетая чище, чем можно было ожидать, хотя, надо полагать, если бы Элис могла видеть, что делается вокруг, ее маленькая служанка имела бы еще более опрятный вид.

– Бейби, – сказала слепая, – подай милорду и мисс Эштон хлеба и меду. Они простят твою неловкость, если ты постарайшься сделать все быстро и аккуратно.

Бейби исполнила приказание хозяйки со всем проворством, на какое была способна; она засуетилась, но, как у рака, ноги ее двигались в одну сторону, а голова была обращена в противоположную, так как она не сводила глаз с милорда, которого его подчиненные видели очень редко, хотя часто слышали о нем. Хлеб и мед были поданы на листе латука, и гости из приличия отведали скромного угощения.

Сэр Эштон сел на гнилой ствол сваленного бурей дерева. Ему, очевидно, хотелось продолжить разговор, но он не знал, какой выбрать предмет.

– Вы, вероятно, давно живете в этом имении? – спросил он после минутного молчания.

– Скоро шестьдесят лет, как я впервые увидела Рэвенсвуд, – сказала Элис, и хотя она говорила учтивым и почтительным тоном, но, по-видимому, только подчинялась неизбежной необходимости отвечать на предлагаемые ей вопросы.

– Судя по вашему выговору, вы родились не в этих местах? – продолжал лорд-хранитель.

– Я родилась в Англии, милорд.

– Однако вы, кажется, очень привязаны к нашей стране и любите ее как родину?

– Здесь, милорд, – сказала слепая, – я знала и радости и горе, ниспосланные мне небом; здесь я прожила двадцать лет с нежнейшим и добрейшим из мужей; здесь я родила шестерых детей и здесь похоронила их. Они покоятся вон там, у полуразвалившейся часовни. При их жизни у меня не было другой родины, кроме их родины, и после их смерти мне не надобно иной.

– Но ваш дом в очень плохом состоянии, – заметил сэр Уильям, бросая взгляд на ветхое жилище.

– Ах, отец! – воскликнула Люси, ловя лорда-хранителя на слове. – Прикажете починить его! – И, смутившись, добавила: – Разумеется, если сочтете возможным.

– Мне бы не хотелось, чтобы милорд беспокоился из-за меня, дорогая мисс Люси, – сказала слепая. – На мой век мне хватит!

– Но прежде вы жили в хорошем доме, – настаивала Люси, – и были богаты, а теперь, под старость, вам приходится ютиться в такой лачуге.

– Для меня и этого достаточно, мисс Люси. Если мое сердце выдержало столько своих и чужих горестей, то, верно, уж закалено против всяких напастей, а мое старое тело не стоит ваших хлопот.

– Вы, вероятно, испытали немало превратностей на своем веку, – сказал сэр Уильям, – и опыт, разумеется, научил вас быть ко всему готовой.

– Он научил меня смирению, милорд, – последовал ответ.

– И вы не можете не знать, что годы всегда приносят с собой перемены.

– О да, милорд. Я знаю, что ствол, на котором вы сейчас сидите – остаток великолепного громадного ясеня, – должен рано или поздно сгнить, если прежде его не уничтожит топор дровосека. Но я надеялась, что мои глаза не увидят падения старого дерева, под сенью которого стояло мое жилище.

– Не подумайте, что я рассержусь на вас за то, что вы сожалеете о прежних владельцах моего поместья, – ответил сэр Эштон. – У вас, без сомнения, есть причины любить их, и я уважаю ваши чувства. Я прикажу починить ваш домик, и, надеюсь, мы будем друзьями, когда короче узнаем друг друга.

– В мои годы уже не обзаводятся новыми друзьями, – сказала Элис. – Я очень благодарна вам, милорд; вы, несомненно, говорите от души. Но я ни в чем не нуждаюсь и не могу ничего принять от вас.

– В таком случае, – продолжал лорд-хранитель, – позвольте мне, по крайней мере, сказать, что я рад встретить в вас женщину умную и воспитанную, и надеюсь, что вы будете жить в моих владениях до конца своих дней. Я освобождаю вас от арендной платы.

– Я тоже на это надеюсь, милорд, – спокойно ответила слепая. – Насколько мне помнится, освобождение от платы входит в одно из условий продажи вам Рэвенсвуда, хотя такое ничтожное обстоятельство могло легко ускользнуть из вашей памяти.

– В самом деле, – сказал лорд-хранитель, несколько смущенный, – я припоминаю... Но, я вижу, вы слишком привязаны к вашим старым друзьям, чтобы принять услугу от их преемника.

– Нисколько, милорд. Я благодарна вам за доброе отношение ко мне, хотя и не могу принять ваших милостей, и желала бы доказать вам мою признательность иначе, чем теми немногими словами, которые мне придется сейчас сказать вам.

Сэр Уильям не без удивления взглянул на нее, но не сказал ни слова.

– Милорд, берегитесь, – продолжала Элис, – вы на краю пропасти.

– Что вы говорите! – взволновался сэр Эштон, и его мысли тотчас обратились к политическому положению страны. – До вас дошли какие-нибудь слухи? Составлен заговор? Готовится мятеж?

– Нет, милорд. Люди, занимающиеся подобными делами, не посвящают в них старых, слепых и больных. Я хочу предостеречь вас от опасности совсем иного рода. Вы слишком далеко зашли, милорд, в отношении Рэвенсвудов. Верьте мне, это – лютый род, а люди, доведенные до отчаяния, всегда опасны.

– Что вы, что вы! – воскликнул лорд-хранитель. – Я тут ни при чем: таково решение суда, и если Рэвенсвуды недовольны тем, что я выиграл дело, пусть в суд и обращаются.

– Но они могут думать иначе и, изверившись в помощи закона, свершить правосудие собственными руками.

– Что вы хотите этим сказать? – воскликнул сэр Эштон. – Неужели вы думаете, что молодой Рэвенсвуд способен прибегнуть к насилию?

– Сохрани бог, чтобы я сказала что-либо подобное! Он честный, прямой – да, да, честный, прямой, – так я сказала и еще добавлю: чистосердечный, великодушный, благородный юноша; но все же он – Рэвенсвуд, он будет выжидать свой час. Не забывайте участи сэра Джорджа Локхарда.

Сэр Эштон невольно вздрогнул при этом намеке на недавнее трагическое происшествие, а слепая между тем продолжала:

– Чизли, убивший Локхарда, был родственником лорда Рэвенсвуда. Я сама слышала, как он открыто в присутствии нескольких свидетелей грозился исполнить жестокое дело, которое потом совершил. Я не выдержала, хотя по моему положению мне следовало молчать, и сказала ему: «Вы задумали страшное преступление и ответите за него перед всевышним судьей». Никогда не забуду его взгляда, когда он сказал: «Мне придется за многое ответить, так отвечу еще и за это!» Вот почему я говорю: не преследуйте человека, доведенного до отчаяния! В жилах Рэвенсвуда течет кровь Чизли, а одной капли этой крови достаточно, чтобы зажечь пожар. Говорю вам: берегитесь его!

То ли намеренно, то ли случайно, но слепая старуха задела слабую струну в сердце лорда-хранителя. Шотландские бароны не гнушались убийством врага из-за угла и под давлением обстоятельств или тогда, когда иначе нельзя было отплатить обидчику, к этому отчаянному и недостойному средству прибегали не только в те далекие, но и в недавние времена. Сэр Уильям превосходно знал об этом; он также знал, что причинил немало зла семейству Рэвенсвудов, и имел все основания опасаться мести – этого неизбежного следствия пристрастия судов – со стороны наследника разоренного им рода. Сэр Уильям постарался скрыть от слепой овладевшее им волнение; но человек даже менее проницательный, чем старая Элис, легко мог бы догадаться, что ее слова произвели на него сильное впечатление. Изменившимся голосом сэр Эштон возразил, что молодой Рэвенсвуд – человек чести, ну а если это не так, то судьба Чизли должна послужить достаточным предостережением всякому, кто вздумал бы пойти по его стопам. С этими словами он поспешно встал и, не дожидаясь ответа, вышел из сада.

Глава V

*...Дочь Капулетти!
Так в долг врагу вся жизнь моя дана?
Шекспир^[42]*

Лорд-хранитель прошел не останавливаясь около четверти мили. Его дочь, застенчивая от природы, к тому же воспитанная, как того требовали обычаи тех далеких лет, в почтении к родителям и в беспрекословном им повиновении, не смела прервать размышлений отца.

– Ты очень бледна, Люси, – заметил вдруг сэр Уильям, внезапно оборачиваясь к дочери и нарушая молчание.

По понятиям того времени, не позволявшим молодой девушке высказывать свое мнение о важных предметах, пока к ней не обратятся, Люси должна была притвориться, что ничего не поняла из разговора между отцом и Элис, и потому объяснила свое волнение тем, что испугалась буйволов, пасшихся в той части огромного парка, по которой они как раз проходили.

Эти животные были потомками свирепых обитателей древних каледонских лесов^[43], и шотландская знать считала для себя вопросом чести держать в своих парках нескольких таких буйволов. Многие еще помнят, как они бродили в родовых поместьях Гамильтонов, Драмланриков и Камбернолдов. Судя по описаниям в летописях и тем огромным костям, которые иногда находят при осушении болот и топей, они уступали ростом и силой своим древним предкам. Самцы утратили свою косматую гриву, а вся порода измельчала; шерсть приобрела грязно-белый, или, лучше сказать, бледно-желтый цвет, копыта же и рога стали черными. Однако время почти не изменило их лютый нрав, так что было совершенно невозможно отучить их от дикой ненависти к человеку, и, когда к ним приближались без должной осторожности или как-нибудь иначе привлекали их внимание, они становились очень опасны. Вероятно, именно по этой причине дикие стада были уничтожены даже в тех угодьях, о которых говорилось выше, ибо иначе столь достойное украшение шотландских дубрав и баронских поместий, конечно, постарались бы сохранить. Однако, если не ошибаюсь, несколько буйволов еще существует и поныне в Нортумберленде, в Чилингемском парке, принадлежащем графу Тэнкервилу.

Люси решила, что лучше всего приписать свое волнение, на самом деле вызванное совсем иными причинами, близости нескольких таких животных, которых она, в сущности, не боялась, привыкнув видеть их во время прогулок по парку. К тому же в те времена отнюдь не считалось признаком хорошего тона у молодой леди падать в обморок по всякому поводу. Однако вскоре оказалось, что мнимая опасность могла сделаться действительной.

Едва Люси успела ответить на слова отца, собиравшегося было попенять дочери за трусость, как вдруг один из буйволов, раздраженный красным цветом ее плаща, а быть может, просто в приступе необъяснимой ярости, которой были подвержены эти животные, отделился от стада, мирно щипавшего траву на другом конце зеленой лужайки, почти скрытой от глаз густо переплетенными ветвями, и начал медленно приближаться к людям, вторгшимся в его владения. Время от времени он останавливался и неистово ревел, то взрывая копытами землю, то взметывая песок рогами, словно старался еще больше разжечь свою лютую злобу и ненависть.

Лорд-хранитель внимательно следил за движениями буйвола; предвидя близкую опасность, он крепко сжал руку дочери и удвоил шаг, надеясь убежать или скрыться от рассвирепевшего зверя. Но сэр Эштон не мог поступить хуже: животное, ободренное их бегством, тотчас бросилось за ними следом. Угроза неминуемой гибели могла бы испугать человека и более храброго, чем сэр Уильям, но родительская любовь, «любовь сильнее смерти», придала ему мужества. Не выпуская руки дочери, он продолжал тащить ее за собой, пока бедная девушка,

лишившись от ужаса сил, не свалилась у его ног. Не имея другой возможности спасти дочь, сэр Эштон остановился и мужественно стал между нею и разъяренным животным, которое несло теперь во весь опор, все более свирепея от погони, и уже было от них в нескольких шагах. У сэра Уильяма не было при себе оружия: его возраст и положение не позволяли ему носить даже маленькую шпагу – хотя, будь он при шпаге, едва ли это ему помогло бы.

Таким образом, отец или дочь, а быть может, оба вместе неминуемо должны были сделаться жертвой лютого зверя, как вдруг из соседней рощи раздался выстрел. Метко пущенная пуля попала буйволу в шею у основания черепа, и рана, которая, оказавшись она в любой другой части тела, только удвоила бы ярость взбешенного животного, вызвала почти мгновенную смерть. Буйвол, уже не владея своими конечностями, словно по инерции рванулся вперед и, весь покрывшись черным предсмертным потом и сотрясаясь в последних судорогах, с чудовищным ревом рухнул в трех шагах от остолбеневшего лорда – хранителя печати.

Люси лежала на земле без чувств, не сознавая чудесного своего избавления. Отец ее также находился в совершенном оцепенении, так быстро и неожиданно неизбежная смерть сменилась полной безопасностью. Животное, даже мертвое, внушало страх, и сэр Уильям оторопело смотрел на него с каким-то смутным удивлением, мешавшим ему вполне понять, что же, собственно, произошло. Все случившееся представлялось ему в тумане, и он, вероятно, подумал бы, что зверь убит грозой, если бы среди ветвей не заметил человека с коротким ружьем, иначе называемым мушкетонном.

Это заставило сэра Эштона тотчас прийти в себя, и, взглянув на дочь, он увидел, что она нуждается в немедленной помощи. Поэтому он решил окликнуть стрелка, которого принял за одного из лесничих, и поручить ему мисс Эштон, пока сам он отправится за людьми. Охотник подошел, и сэр Уильям увидел совершенно незнакомого ему человека, но был слишком взволнован и озабочен, чтобы обратить на это внимание. Незвестный был намного моложе и сильнее его, а потому лорд-хранитель без долгих слов попросил своего избавителя снести дочь к соседнему источнику, сам же поспешил к лачуге Элис за помощью.

Молодой человек, вмешательству которого лорд-хранитель и его дочь были обязаны своим спасением, по-видимому, не хотел оставлять доброго дела неоконченным. Взяв Люси на руки, он тропинками, очевидно хорошо ему известными, понес ее через чащу и, дойдя до источника, из которого струилась прозрачная вода, осторожно опустил драгоценную ношу на землю. Некогда над этим источником возвышался готический храм, но теперь от него остались одни лишь развалины; свод рухнул и раскололся, фонтан сломался и разрушился, и вода текла прямо из земли, пробиваясь между остатками разбитой скульптуры и поросшими мхом камнями, преграждавшими ей путь.

Об этом источнике, как и о всяком другом сколько-нибудь примечательном месте в Шотландии, существовала легенда, раскрывающая причину, по которой он удостоился особого поклонения. Рассказывали, что один из лордов Рэвенсвудов, охотясь в этих местах, встретил у источника прелестную молодую девушку, которая, подобно нимфе Эгерии^[44], завладела сердцем этого феодального Нумы. Они стали встречаться у родника, и всегда при закате солнца. Очарование ее ума довершило победу, начатую ее красотой, а таинственность придавала несказанную прелесть этим романическим свиданиям. Так как девушка всегда появлялась и исчезала близ источника, то ее возлюбленный решил, что между нею и водой существует необъяснимая связь. Красавица требовала соблюдения нескольких условий, также весьма таинственных: влюбленные виделись только раз в неделю, по пятницам, и разлучались, как только колокол в соседней обители, находившейся тогда недалеко в лесу, а ныне уже давно разрушенной, возвещал о вечерне. На исповеди барон Рэвенсвуд поведал отшельнику тайну своей необыкновенной любви, и отец Захария тотчас пришел к совершенно непреложному и очевидному заключению, что его духовный сын попал в сети нечистого и что погибель угрожает не только бренному телу его, но и душе. Он употребил всю силу монашеского красноречия, чтобы

заставить барона поверить в грозящую ему опасность, и в самых страшных красках нарисовал подлинный образ восхитительной наяды, которую не колеблясь объявил рукою дьявола. Влюбленный барон слушал его с упрямым недоверием и, только чтобы отделаться от настойчивых требований отшельника, согласился подвергнуть свою возлюбленную испытанию: по предложению отца Захарии в следующую пятницу колокол в вечерне должен был ударить на полчаса позже обычного. Монах уверял (и в подтверждение своего мнения ссылаясь на «*Malleus Maleficarum*» Sprengerus, Remigius⁹ и других ученых демонологов), что злой дух, вынужденный благодаря этой хитрости оставаться на земле более положенного срока, примет свой настоящий вид и, представ перед уstraшенным бароном ищадием ада, исчезнет в серном пламени. Раймонд Рэвенсвуд не без любопытства пошел на все это, хотя и был убежден, что ожидания монаха не оправдаются.

В назначенный час влюбленные, как обычно, встретились у источника, но оставались вместе дольше положенного времени, так как отшельник умышленно запоздал ударить в колокол. Ничто не изменилось в наружности нимфы, но, как только она заметила по удлинившимся теням, что час вечерни миновал, она вырвалась из объятий Раймонда и с воплем отчаяния, прощаясь с ним навеки, бросилась в источник. На поверхности воды показались пузыри, окрашенные кровью, и несчастный барон убедился, что его настойчивое любопытство стало причиной смерти этого обворожительного и таинственного существа. Угрызения совести и сожаления о прелестной возлюбленной были достойной карой в течение всей его кратковременной жизни, которой он лишился несколько месяцев спустя в битве при Флоддене^[45]. Но перед тем как отправиться на поле брани, он в память о наяде решил предохранить источник, – где, казалось, все еще обитал ее дух, – от всякого осквернения и воздвигнул над ним небольшой храм, от которого теперь остались одни развалины. Говорят, что с этого времени начался упадок дома Рэвенсвудов.

Таково было поверье. Однако кое-кто, желая казаться умнее простого народа, утверждал, что основанием для этой легенды послужила история красавицы крестьянки, возлюбленной этого самого Раймонда, которую он убил в припадке ревности и чья кровь смешалась с водами заговоренного источника, как его называли в округе. Иные приписывали происхождение этого предания языческой мифологии. Но все сошлись на том, что это место – роковое для Рэвенсвудов и что испить воды из этого источника или даже подойти к нему близко было для них так же пагубно, как для Грэма – надеть зеленую одежду, для Брюса – убить паука или для Сен-Клера – переправиться через реку Орд в понедельник^[46].

На этом роковом месте Люси Эштон очнулась от своего продолжительного, почти смертельного обморока. Прекрасная и бледная, словно нимфа из старинной легенды, когда та навеки прощалась с Раймондом, Люси полулежала, прислонясь к обломку стены, и ее красный плащ, насквозь промокший от воды, с помощью которой неизвестный юноша старался привести ее в чувство, обрисовывал ее стройную, превосходно сложенную фигуру.

Придя в себя, Люси вспомнила о том, что заставило ее лишиться чувств, и тотчас подумала об отце. Она посмотрела вокруг, но его не было рядом с ней.

– Где он? Где мой отец? – испуганно воскликнула она.

– Сэр Уильям здоров и невредим, – ответил ей незнакомый голос. – Не бойтесь, он скоро придет сюда.

– Это правда? – спросила Люси. – Буйвол был от нас в двух шагах. Пустите меня, я пойду искать отца!

⁹ «Молот ведьм»* Шпренгеруса, Ремигиуса...*** «*Молот ведьм*» – название средневекового трактата о «колдовстве», одним из авторов которого был Шпренгер (жил в XVI в.).** *Ремигиус* (Реми Никола, 1554–1600) – французский судья, приговоривший к смерти сотни людей за «колдовство», автор трактата о «колдовстве».

С этими словами Люси поднялась; но ее силы были настолько истощены, что она не смогла выполнить свое намерение и неминуемо упала бы на камни и сильно расшиблась, если бы незнакомец, стоявший подле нее, не поддержал ее. Однако он сделал это с какой-то странной неохотой, казавшейся непонятной в молодом человеке, которому выпало счастье предохранить от опасности красавицу. Легкая, воздушная фигурка девушки была словно слишком тяжела для мужественного атлета; не испытывая даже желания лишнюю минуту удержать ее в своих объятиях, незнакомец посадил Люси на камень, где она сидела раньше, и, отступив на несколько шагов, поспешно повторил:

– Сэр Уильям совершенно здоров и невредим. Он сейчас придет сюда. Не беспокойтесь о нем, на этот раз судьба была к нему милостива. Вы очень слабы, сударыня, и не должны уходить отсюда, пока кто-нибудь более умелый, чем я, не окажет вам необходимую помощь.

Люси, которая теперь уже совершенно пришла в себя, внимательно посмотрела на незнакомца. В его внешности она не обнаружила ничего такого, что могло бы помешать ему предложить руку молодой девушке, нуждающейся в его поддержке, или опасаться, что она не примет его услуги. Как ни была она взволнована, Люси не могла не заметить его холодности и нежелания подать ей руку. Охотничья куртка темного цвета, наполовину скрытая широким коричневым плащом, говорила о том, что юноша – знатного происхождения. Мягкая шляпа с черным пером, надвинутая на лоб почти по самые брови, скрывала его лицо – смуглое, с правильными чертами: оно отличалось гордым, хотя и несколько угрюмым, выражением. Тайная печаль или беспокойный дух какой-то темной страсти, должно быть, уничтожили в юноше естественную живость, столь свойственную его летам, так что нельзя было смотреть на него без сострадания или уважения; во всяком случае, молодой человек вызывал интерес и пробуждал любопытство.

Все это – то, о чем нам пришлось рассказывать так долго, – почти мгновенно промелькнуло в сознании Люси. И не успел ее взгляд встретиться с черными, пламенными глазами незнакомца, как она в смущении и страхе опустила голову. Однако нужно было сказать ему несколько слов, по крайней мере она считала своим долгом поблагодарить молодого человека; дрожащим голосом Люси начала говорить о грозившей ей и ее отцу опасности, от которой он с Божьей помощью спас их.

При этом изъявлении благодарности незнакомец вздрогнул и, прервав ее, сказал:

– Я оставляю вас, сударыня, – и его мелодичный, глубокий голос вдруг стал суровым, – я оставляю вас на попечении того, для кого сегодня вы, быть может, были ангелом-хранителем.

Эти загадочные, непонятные слова изумили Люси, сердце которой было полно самой безыскусственной, самой искренней благодарности, и она начала опасаться, не оскорбила ли она незнакомца каким-нибудь неловким словом, будто и вправду могла его обидеть.

– Я, быть может, недостаточно учтиво выразила вам мою признательность, – сказала она. – Я, право, не помню, что сказала, но прошу вас остаться и подождать, пока мой отец... пока лорд хранитель печати... Позвольте ему поблагодарить вас и узнать имя нашего избавителя.

– К чему вам имя? – ответил незнакомец. – Ваш отец... или, вернее, сэр Уильям Эштон узнает его достаточно скоро, но, боюсь, оно доставит ему мало удовольствия.

– Вы ошибаетесь! – с живостью воскликнула Люси. – Вы не знаете моего отца, он будет очень благодарен вам. Но, быть может, говоря, что он в безопасности, вы обманываете меня: он, верно, сделался жертвой лютого зверя.

В ужасе от этой мысли Люси вскочила, чтобы бежать туда, где произошла страшная сцена; в незнакомце, казалось, боролись два противоречивых желания: пойти вместе с ней или немедленно удалиться; из человеколюбия он решил уговорить, а если понадобится, то и заставить ее остаться.

– Даю вам честное слово, сударыня, – воскликнул он, – я сказал вам правду: ваш отец в полной безопасности. Вы только вновь подвергнете себя опасности, если вернетесь туда, где

пасется это дикое стадо. Но если вы хотите идти, – ибо, вообразив, что ее отец в беде, Люси рвалась к нему, невзирая ни на какие уговоры, – если вы непременно хотите идти туда, то обопритесь по крайней мере на мою руку, хотя, быть может, я не тот человек, у которого вам следует искать защиты.

Люси приняла это предложение, не обращая внимания на последние слова.

– Если вы мужчина... если вы джентльмен, – сказала она, – помогите мне разыскать отца. Вы не покинете меня. Вы пойдете со мной. Быть может, пока мы здесь пререкаемся, отец истекает кровью.

И, не слушая извинений и уверений незнакомца, Люси приняла предложенную ей руку и потащила его за собой, думая лишь о том, что без этой поддержки ей не устоять на ногах и что необходимо удержать юношу подле себя. Но в эту минуту она увидела отца, приближавшегося к ним в сопровождении служанки слепой Элис и двух дровосеков, которых он встретил в лесу и позвал с собой. Радость сэра Уильяма, когда он увидел Люси целой и невредимой, заглушила в нем удивление, которое возбудило бы во всякое другое время представившееся ему неожиданное зрелище: его дочь непринужденно опиралась на руку незнакомца.

– Люси, дорогая моя Люси! Ты невредима! Ты жива! – вот все, что мог сказать отец, нежно обнимая дочь.

– Все обошлось, отец, слава богу, – ответила Люси, – я счастлива, что снова вижу вас. Но что подумает обо мне этот джентльмен, – прибавила она, отпуская руку молодого человека и поспешно отодвигаясь от него; румянец залил щеки и шею девушки при одной мысли, что минуту назад она так настойчиво домогалась и даже требовала его помощи.

– Надеюсь, этот джентльмен не пожалеет о своем поступке, – сказал сэр Уильям Эштон, – когда узнает, что сам лорд – хранитель печати приносит ему свою глубокую благодарность за величайшую услугу, какую человек может оказать человеку, – за спасение жизни моего ребенка, за спасение моей собственной жизни... Я уверен, что джентльмен позволит мне просить его...

– Меня ни о чем не просите, милорд, – перебил его незнакомец твердым, властным голосом. – Я – Рэвенсвуд.

Наступила мертвая тишина; от изумления, а может быть, по другой, еще менее приятной причине лорд-хранитель не мог произнести ни слова. Эдгар завернулся в плащ, гордо поклонился Люси и, едва слышно пробормотав с явной неохотой несколько учтивых слов, скрылся в чаще.

– Мастер Рэвенсвуд! – воскликнул сэр Уильям, оправившись после минутного удивления. – Бегите за ним, остановите его: скажите, что я прошу его выслушать меня.

Дровосеки пустились вдогонку за Эдгаром, однако тотчас возвратились и с некоторым замешательством объяснили, что молодой человек отказался последовать за ними.

Лорд-хранитель отозвал одного из них в сторону и спросил, что сказал им молодой Рэвенсвуд.

– Он сказал, что не пойдет, – ответил дровосек с осторожностью благоразумного шотландца, который не любит передавать неприятные вести.

– А еще что? – допытывался сэр Уильям. – Я хочу знать все, что он сказал.

– В таком случае, милорд, – ответил дровосек, опуская глаза, – он сказал... Но, право, вам неприятно будет это услышать, а у него ведь ничего худого на уме не было.

– Это вас не касается, милейший, – прервал его лорд-хранитель, – я требую, чтобы вы в точности передали его слова.

– Ну так он сказал: передайте сэру Уильяму Эштону, что, когда судьба сведет нас в следующий раз, он будет счастлив расстаться со мной.

– Ну конечно! – воскликнул лорд-хранитель. – Он, вероятно, намекал на пари, которое мы с ним держали о наших соколах. Это пустяки!

И сэр Уильям возвратился к дочери, которая уже настолько оправилась, что могла дойти до дому. Однако страшная сцена оставила глубокий след в душе крайне впечатлительной девушки; ее воображение было поражено намного сильнее, чем здоровье. И днем и ночью, во сне и наяву ей чудился разъяренный буйвол, мчавшийся на нее с диким ревом, а между нею и верной смертью всегда появлялась благородная фигура Эдгара Рэвенсвуда. Пожалуй, для молодой девушки небезопасно сосредоточивать свои мысли, к тому же мысли пристрастные, на одном человеке, но в положении Люси Эштон это было неминуемо. Никогда прежде не встречала она юношу с такой романически привлекательной наружностью; но даже если бы ее окружала целая сотня молодых людей, ничем не уступающих Эдгару или даже лучше его, то и тогда ни один из них не мог бы пробудить в ее сердце столь жгучих воспоминаний о страшной опасности и избавлении от нее, столь глубокого чувства благодарности, изумления и любопытства. Да, именно любопытства, потому что странная скованность и принужденность в обращении с ней Рэвенсвуда, составлявшие разительную противоположность с простым, естественным выражением его лица и приятными манерами, изумили Люси и тем более привлекли ее внимание к Эдгару. Она почти ничего не слышала о Рэвенсвуде и о раздорах между его отцом и сэром Уильямом; впрочем, если ей и были бы известны все подробности, то Люси с ее нежным сердцем вряд ли сумела бы постичь возбужденные этими распрями ненависть и злобу. Она знала, что Рэвенсвуд знатного происхождения, что он беден, хотя является потомком благородного и некогда богатого рода, и сочувствовала гордому юноше, не пожелавшему принять благодарность от новых владельцев родовых его земель. «Неужели он так же отказался бы выслушать нашу признательность и короче познакомиться с нами, – думала она, – если бы слова отца были сказаны мягче, не столь резко, а тем ласковым тоном, которым так умело пользуются женщины, когда им нужно успокоить буйные страсти мужчин?» Страшен был этот вопрос для молодой девушки, страшен как сам по себе, так и по своим возможным последствиям.

Словом, Люси Эштон блуждала в лабиринте мыслей и грез, весьма опасных для юных впечатлительных натур. Правда, она больше не видела Рэвенсвуда; время, перемена места и новые лица могли бы развеять ее мечты, как это не раз случалось со многими другими девушками, но она была одна, и ничто не отвлекало ее от приятных ей мыслей об Эдгаре. Леди Эштон находилась как раз в Эдинбурге, занимаясь какими-то придворными интригами, а лорд-хранитель, от природы замкнутый и необщительный, принимал гостей только с тем, чтобы потешить свое тщеславие, или же в политических целях. Таким образом, подле мисс Эштон не оказалось никого, кто мог бы сравниться с идеальным образом рыцаря, каким она рисовала себе Рэвенсвуда, никого, кто мог бы затмить его.

Предаваясь своим мечтам, Люси часто навещала старую Элис, надеясь, что ей нетрудно будет вызвать старуху на разговор о предмете, которому она неблагоразумно отводила столько места в своих мыслях. Но Элис не пожелала пойти ей навстречу, не оправдала ее надежд. Слепая говорила о семействе Рэвенсвудов охотно и с большим увлечением, но словно нарочно обходила упорным молчанием молодого наследника. Если же ей случалось сказать о нем несколько слов, то они были далеко не так хвалебны, как ожидала Люси. Элис давала понять, что он человек суровый, не склонный забывать обиды, способный скорее мстить, чем прощать. Люси с испугом слушала эти намеки на опасные свойства молодого человека, вспоминая, как настойчиво советовала Элис ее отцу остерегаться Рэвенсвуда.

Но разве сам Рэвенсвуд, на которого возводились все эти несправедливые подозрения, не опроверг их, спасая жизнь ей и ее отцу? Если, как намекала Элис, Эдгар вынашивал мрачные замыслы, то он мог вполне удовлетворить свое чувство мести, не прибегая даже к преступлению: ему достаточно было лишь чуть помедлить, воздержавшись от необходимой помощи, и человек, которого он ненавидел, неминуемо погиб бы страшной смертью без всякого усилия с его стороны. Поэтому Люси решила, что какое-нибудь тайное предубеждение, а быть может,

просто подозрительность, свойственная старым, убогим людям, заставляли Элис относиться неблагосклонно к молодому Рэвенсвуду, приписывая ему такие черты, которые противоречили его великодушному поступку и благородному облику. На этом убеждении Люси основывала все свои надежды, продолжая плести волшебную ткань фантастических мечтаний, прозрачную и блестящую, как натянутая в воздухе паутина, унизанная бусинками росы и сверкающая в лучах утреннего солнца.

Ее отец и молодой Рэвенсвуд не менее часто вспоминали о страшном событии, но мысли их были более земными. Возвратясь домой, лорд-хранитель прежде всего послал за врачом, дабы убедиться, что здоровье его дочери не пострадало от пережитого ею потрясения. Успокоившись на этот счет, он тщательно перечитал докладную записку, набросанную со слов судебного пристава, которому было поручено помешать исполнению епископальных обрядов на похоронах лорда Рэвенсвуда. Искусный казуист, привыкший вкось и вкривь толковать законы, сэр Уильям без малейшего труда смягчил описание происшедших на похоронах беспорядков, которые поначалу собирался изобразить в самых черных красках. В заключение он даже убеждал своих коллег, членов Тайного совета, в необходимости прибегать к миролюбивым мерам, когда речь идет о молодых людях с горячей кровью и без должного опыта. Он даже не остановился перед тем, чтобы взвалить часть вины на пристава, который своим поведением якобы вызвал молодого человека на резкость.

Таково было содержание официальных депеш; частные же письма к друзьям, в руки которых должно было попасть это дело, звучали еще благодуще. Сэр Уильям утверждал, что в данном случае снисходительность явилась бы благоразумной мерой и пришлась бы по вкусу народу, тогда как, принимая во внимание глубокое уважение, питаемое в Шотландии к похоронам, проявление суровости к молодому Рэвенсвуду только за то, что он воспротивился нарушению погребальных обрядов над телом отца, возбудило бы всеобщее недовольство. Наконец, принимая тон человека благородного и великодушного, сэр Уильям просил как о личном одолжении, чтобы этому делу не давали никакого хода. Он деликатно намекал на свои сложные отношения с молодым Рэвенсвудом, с отцом которого он вел долгие тяжбы, приведшие к оскудению этого благородного рода; признавался, что ему было бы приятно изыскать средства хотя бы частично вознаградить молодого человека за потери, нанесенные ему и его семье в результате победы, одержанной им, сэром Уильямом, при защите своих законных и справедливых прав. Ввиду всего этого лорд-хранитель просил друзей как об особой услуге прекратить всякое преследование, вместе с тем давая понять, что ему было бы весьма желательно, чтобы молодой Рэвенсвуд был обязан таким счастливым исходом дела его, сэра Эштона, заступничеству.

Однако в письмах к леди Эштон сэр Уильям, против своего обыкновения, не упомянул ни словом о беспорядках на похоронах лорда Рэвенсвуда и, хотя сообщил о том, что он и Люси подверглись нападению буйвола, умолчал о всех подробностях этого страшного происшествия.

Друзья и коллеги сэра Уильяма были крайне озадачены, получив от него письма такого неожиданного содержания. Сравнивая между собою эти послания, один улыбался, другой удивленно поднимал бровь, третий покачивал головой, а четвертый спрашивал, нет ли по этому вопросу еще каких-нибудь писем от лорда-хранителя.

– Очень странно, милорды, – заявил один из них, – но ни одна из этих просьб не заключает в себе сути дела.

Однако никаких тайных разъяснений не последовало, хотя казалось невероятным, чтобы таковых не существовало.

– Ну, – сказал седовласый сановник, сохранивший благодаря искусному лавированию свое место у кормила правления, несмотря на все перемены курса, которым государственный корабль подвергался в течение тридцати лет, – ну, я полагал, что сэр Уильям помнит старую шотландскую поговорку: шкура ягненка продается на рынке точно так же, как и шкура старого барана.

– Придется исполнить его желание, – вздохнул другой, – хотя, признаться, я никак не ожидал от него подобной просьбы.

– Своевольный человек всегда делает так, как взбредет ему на ум, – заметил старый советник.

– Не пройдет и года, как лорд-хранитель раскается в этом поступке, – сказал третий. – Молодой Рэвенсвуд еще заварит кашу.

– Ну а вы, милорды, что бы сделали с этим бедным юношей? – спросил маркиз Э***, заседавший в совете. – Лорд-хранитель завладел всеми его поместьями. У Рэвенсвуда нет и ломаного гроша за душой.

Кто не может расплатиться,
Пусть под плети сам ложится, –

продекламировал старый лорд Тернтипет. – Вот как поступали до революции: *Luitur cum persona, qui luere non potest cum crumena*¹⁰. Прекрасная судейская латынь, милорды.

– Я не вижу, милорды, к чему нам заниматься этим делом, – заявил маркиз. – Пусть лорд-хранитель действует сам, как считает нужным.

– Согласны, согласны. Пусть лорд-хранитель сам сделает заключение по этому делу. Ну а для формы назначим ему кого-нибудь в помощь, ну хотя бы лорда Хэрплхоли, благо он теперь болен. Секретарь, внесите это решение в протокол... Теперь, милорды, нам надо решить вопрос о штрафе с этого шалолая, лэрда Бакло. Я думаю, это входит в компетенцию лорда-канцлера.

– Ну нет, милорды! – раздался голос лорда Тернтипета. – Стыдно вам тащить у меня кусок изо рта. Я уже давно на него нацелился и как раз собирался полакомиться.

– Говоря словами вашей же любимой поговорки, – перебил его маркиз, – вы точь-в-точь как та собака мельника, что облизывается, еще не видя кости. Штраф пока еще не наложен.

– Для этого достаточно только черкнуть пером, – возразил лорд Тернтипет, – и, конечно, ни один благородный лорд из здесь присутствующих не осмелится утверждать, что я – когда вот уже тридцать лет я соглашаюсь со всем, с чем только нужно, делаю все, что ни потребует: отрекаюсь, когда нужно, присягаю, когда нужно; словом, тридцать лет без устали тружусь на пользу отчизне и в хорошие и в плохие времена, – что после такой работы я не заслужил, чтобы мне дали иногда промочить горло.

– Разумеется, милорд, – ответил маркиз, – это было бы и впрямь нехорошо с нашей стороны, будь у нас хоть малейшая надежда утолить вашу жажду или если бы вы вдруг поперхнулись и нуждались в промывании глотки...

Однако пора задернуть занавес и расстаться с Тайным советом Шотландии тех далеких дней.

¹⁰ Расплачивается собой тот, кто не может расплатиться деньгами (лат.).

Глава VI

*Ужель для басенки пустой
Здесь воины сидят,
И слезы глупые ужель
Осилят наш булат?
Генри Макензи^[47]*

Вечером того дня, когда лорд-хранитель и его дочь были спасены от неминуемой гибели, два незнакомца сидели в самой отдаленной комнате маленького неприметного трактира, или, лучше сказать, харчевни, под вывеской «Лисья нора», находившегося в трех или четырех милях от замка Рэвенсвуд и на таком же расстоянии от полуразрушенной башни «Волчья скала».

Одному из собутыльников было на вид лет сорок; он был высокого роста, худощав, с горбатым носом, черными пронизательными глазами, умным и зловещим выражением лица. Другой – коренастый, румяный и рыжеволосый – казался лет на пятнадцать моложе. У него был открытый, решительный, веселый взгляд, а в светло-серых глазах, придавая им живость и выразительность, горел беспечно-дерзкий огонек, говоривший об отваге их обладателя.

На столе красовалась фляга с вином (в те дни вино не подавали в бутылках, а разливали из бочонков в жестяные фляги), и перед каждым стоял квайг¹¹. Однако веселье не царило за их столом. Скрестив руки, оба гостя молча смотрели друг на друга, углубившись в собственные мысли.

Наконец тот, что был помоложе, прервал молчание.

– Какой черт его там задерживает? – воскликнул он. – Неужели дело не выгорело? Зачем только вы не дали мне пойти вместе с ним?

– Каждый сам должен мстить за нанесенную ему обиду, – ответил старший. – Мы и так рискуем своей жизнью, ожидая его здесь.

– А все-таки вы трус, Крайгенгельт, – сказал младший. – И многие уже давно пришли к этому заключению.

– Но никто еще не осмелился сказать это мне в лицо! – воскликнул Крайгенгельт, хватаясь за шпагу. – Ваше счастье, что я не придаю значения опрометчивому слову, а то бы... – И он замолчал, ожидая, что скажет его собеседник.

– Вы бы... Ну, что бы вы сделали? Что же вас останавливает?

– Что меня останавливает? – ответил Крайгенгельт, наполовину вытаскивая шпагу из ножен и тотчас вкладывая ее обратно. – А то, что у этого клинка есть дело поважнее, чем разить всяких вертопрахов.

– Вы правы, – сказал молодой человек, – надо быть безмозглым хлыщом или уж вконец сумасшедшим, чтобы надеяться на ваши прекрасные обещания доставить мне место в ирландской бригаде^[48]. Но что делать! Все эти конфискации, особенно последний штраф, который жаждет опустить себе в карман старый мошенник Тернтипет, лишили меня крова и состояния. В самом деле, что у меня общего с ирландской бригадой? Я шотландец, как мой отец, как весь наш род. А моя тетка, леди Гернингтон... Не будет же она жить вечно!

– Все это превосходно, Бакло, но она может еще долго протянуть. Что же касается вашего отца... У него были земля и деньги, он не закладывал своих поместий, не имел дела с ростовщиками, платил долги и жил на собственные средства.

¹¹ *Квайг* – чаша, состоящая из маленьких деревянных дощечек, соединенных вместе, как бочка; квайги употреблялись для вина и водки и бывали различных размеров, иногда их делали из драгоценного дерева в серебряной оправе. (Примеч. авт.)

– А кто виноват, что я не могу жить, как он? Вы и вам подобные вконец меня разорили, а теперь мне, конечно, придется последовать вашему жалкому примеру: одну неделю – распространять тайные вести из Сен-Жермена^[49], другую – распускать слухи о восстании горцев; кормиться за счет старух якобиток, выдавая им пряди волос из старого парика за кудри Шевалье; поддерживать приятеля в ссорах до дуэли, а там ретироваться, – ведь политический агент не имеет права рисковать своей жизнью из-за пустяков. И все это за кусок хлеба да за удовольствие называть себя капитаном.

– Вы полагаете, что говорите очень красноречиво, – сказал Крайгенгельт, – и славно поглумились надо мной. Что ж, разве лучше подышать с голоду или качаться на виселице, чем вести такую жизнь, какую веду я, и то только потому, что наш король не может в настоящую минуту прилично содержать своих слуг.

– Умереть с голоду честнее, а виселицы вам и так не миновать. Однако никак не возьму в толк, что вам нужно от бедного Рэвенсвуда. Денег у него не больше, чем у меня; все оставшиеся у него земли заложены и перезаложены: доходов не хватает даже на уплату процентов. Чем вы рассчитываете поживиться, впутываясь в его дела?

– Не беспокойтесь, Бакло, я знаю, что делаю. Во-первых, он из древнего рода и отец его оказал большие услуги в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году, так что, если удастся завербовать его, это не преминут оценить в Сен-Жермене и Версале. Потом, да будет вам известно, молодой Рэвенсвуд не вам чета: у него есть ум и такт, он талантлив и смел; за границей он покажет себя как человек с головой и сердцем, который знает кое-что помимо верховой езды и соколиной охоты. Мне почти перестали доверять, потому что я вербую людей, у которых мозгов хватает только на то, чтобы поднять оленя да приручить сокола. Рэвенсвуд же образован, сметлив и умен.

– И при всех этих достоинствах он попался к вам в сети. Не сердитесь, Крайгенгельт. Да оставьте же в покое вашу шпагу! Вы же все равно не будете драться! Скажите-ка лучше тихо да мирно, каким образом вы сумели втереться в доверие к Рэвенсвуду?

– Очень просто: потворствуя его жажде мщения. Вы думаете, я не знаю, что Эдгар меня недолюбливает; но я выждал удобный момент и опустил молот, когда от обид и несправедливостей мой рыцарь раскалился докрасна. В настоящую минуту он отправился, как он выразился (а может, он и в самом деле так думает), объясниться с сэром Уильямом Эштоном. Но поверьте, если они встретятся и адвокат начнет оправдываться, ссылаясь на законы, Рэвенсвуд убьет старика. Глаза у Эдгара так сверкали, что трудно было бы обмануться относительно его намерений. Впрочем, если он и не убьет Эштона, то задаст ему такого страха, что власти все равно обвинят нашего приятеля в покушении на жизнь члена Тайного совета. Таким образом, между ним и правительством ляжет пропасть, в Шотландии ему станет слишком жарко, Франция предложит ему убежище, и мы все вместе отправимся туда на французском корабле «L'Espoir»¹², ожидающем нас близ Эймута.

– Превосходно, – сказал Бакло. – В Шотландии меня теперь ничто не держит; если же благодаря присутствию Рэвенсвуда нас лучше примут во Франции, то, черт возьми, пусть будет по-вашему! Боюсь, наши собственные достоинства не обеспечат нам там больших чинов. Будем надеяться, что, прежде чем отправиться с нами, Рэвенсвуд не преминет всадить пулю в голову лорда-хранителя. Раз в год неплохо убивать одного из этих сановных негодяев для остротки.

– Совершенно справедливо, – согласился Крайгенгельт. – Пойду-ка посмотрю, накормлены ли наши лошади и готовы ли они в дорогу: если Рэвенсвуд не передумал, нам нельзя будет мешкать ни секунды.

Крайгенгельт направился к двери, но остановился на пороге и прибавил:

¹² «Надежда» (фр.).

– Чем бы ни кончилось это дело, Бакло, вы, надеюсь, запомнили, что я не сказал Рэвенсвуду ни единого слова, одобряющего те глупости, которые могут взбрести ему в голову.

– Разумеется, ни единого слова, – ответил Бакло. – Уж кто-кто, а вы знаете, какая опасность заключается в страшном слове «соучастник».

И тут же вполголоса продекламировал:

Нем циферблат, но знак он подает
И указывает на удар убийцы.

– Что вы там еще бормочете! – воскликнул Крайгенгельт, беспокойно оборачиваясь.

– Ничего... Стихи... Я их слышал когда-то на сцене.

– Право, Бакло, по-моему, вам самому следовало бы стать актером: для вас все шутка да забава.

– Я и сам об этом подумывал. Во всяком случае, это было бы куда безопаснее, чем разыгрывать с вами роковой заговор. Ну, идите, исполняйте вашу роль: присмотрите за лошадьми, как подобает хорошему конюху. Комедиант, актер! – продолжал Бакло, оставшись один. – За эти слова стоило бы угостить его ударом шпаги... Да не стоит связываться с трусом! Впрочем, сцена пришлась бы мне по душе. Пойдите... Да... Я вышел бы в «Александре»^[50] и воскликнул:

Спасти любовь я вышел из могилы,
Обрушьте на меня все ваши силы;
Всех сокрушу, когда рванусь вперед:
Любовь велит мне, слава в бой ведет!

Как раз когда Бакло, опершись на эфес шпаги, громовым голосом декламировал напыщенные вирши бедного Ли, в комнату вбежал испуганный Крайгенгельт.

– Мы пропали! – воскликнул он. – Конь Рэвенсвуда запутался в недоуздке и совсем охромел. Иноходец, на котором он теперь отправился, слишком утомится, а другой лошади у нас нет. На чем он теперь поедет?!

– Да, на этот раз не удастся лететь стрелой, – сухо согласился Бакло. – Однако стойте! Вы же можете уступить ему свою кобылу.

– Что? И попасться самому! Благодарю покорно.

– Полноте! Если даже с лордом-хранителем что-нибудь случилось, – чего я, впрочем, не думаю, так как Рэвенсвуд не из тех, кто стреляет в безоружного старика, – и даже если в замке произошло небольшое столкновение, – то вам-то чего бояться? Ведь вы-то к этому непричастны!..

– Конечно, конечно, – ответил сбитый с толку Крайгенгельт, – но вы забываете о моем поручении из Сен-Жермена.

– Многие считают это вашей собственной выдумкой, благородный капитан. Ладно, если вы не хотите дать Рэвенсвуду вашу лошадь, я, черт возьми, дам ему свою.

– Вашу?

– Да, мою, – подтвердил Бакло. – Пусть не говорят, что, обещав джентльмену поддержку, я потом ничего для него не сделал и даже не помог выпутаться из беды.

– Вы дадите ему вашу лошадь? А вы подумали, какой вы потерпите убыток?

– Убыток? Ах, убыток! Да, мой Серый Гилберт обошелся мне в двадцать золотых, но его иноходец тоже чего-нибудь да стоит, а второй его конь, Черный Мавр, если его выводить, будет стоить вдвое дороже моего. А я знаю, как за это дело приняться. Надо взять жирного

щенка, ободрать с него шкуру, выпотрошить, набить черными и серыми улитками, потом долго жарить, поливая смесью масла, лаванды, шафрана, корицы и меда...

– Превосходно! Только прежде, чем ваш конь вылечится, нет, еще прежде, чем ваш щенок изжарится, вас поймают и повесят. Можете не сомневаться, что погоня за Рэвенсвудом будет отчаянная. Дорого бы я дал, чтобы место нашего свидания было поближе к морю.

– В таком случае, может быть, благоразумнее отправиться вперед, оставив ему здесь мою лошадь? Но тише, тише... Кажется, он едет. Я слышу стук копыт.

– Слышите? – испугался Крайнгельт. – Вы уверены, что он один? Мне кажется, за ним погоня. Я слышу топот нескольких коней – конечно, их много.

– Да полно вам! Это служанка идет за водой и стучит по лестнице деревянными башмаками. Клянусь честью, капитан, вам следует отказаться от вашего чина и от всяких тайных поручений: вы пугливее дикого гуся. А вот и Рэвенсвуд! И, как видите, один! Он, кажется, мрачен, как ноябрьская ночь.

И точно, в эту минуту на пороге появился Рэвенсвуд в плаще, со скрещенными на груди руками и с задумчивым, печальным выражением лица. Войдя в комнату, он скинул плащ, опустился на стул и, казалось, надолго погрузился в глубокое раздумье.

– Ну что? Что? – бросились к нему Крайнгельт и Бакло.

– Ничего, – угрюмо отрезал Рэвенсвуд.

– Ничего?! – повторил Бакло. – Но вы же уехали с твердым намерением рассчитаться со старым негодяем за все обиды, нанесенные вам, и нам, и всей стране. Вы видели его?

– Видел.

– Вы видели его и не расквитались с ним сполна? Признаюсь, я не этого ожидал от мастера Рэвенсвуда.

– Какое мне дело до того, что вы ожидали? Вам, сэр, я не намерен давать отчет в своих действиях.

– Тише, Бакло! – вмешался Крайнгельт, видя, что его приятель вспыхнул и собирается ответить дерзостью. – Погодите! Рэвенсвуду, наверное, что-нибудь помешало. Но мастер должен извинить тревогу и любопытство столь преданных ему друзей, как вы и я.

– Друзей, капитан Крайнгельт! – надменно воскликнул Рэвенсвуд. – Я что-то не припомню, чтобы мы были в близких отношениях. Не знаю, по какому праву вы называете себя моим другом. Мне кажется, вся наша дружба ограничивается тем, что мы условились вместе уехать из Шотландии, как только я побываю в замке, некогда принадлежавшем моим предкам, и повидаясь с его новым владельцем, я не скажу – законным хозяином.

– Совершенно верно, мастер Рэвенсвуд, – ответил Бакло, – но, видите ли, мы полагали, что вы намерены обстригать тут одно дельце, небезопасное для вашей головы. И вот мы с Крайги решили задержаться ради вас, хотя и рисковали собственной шкурой. Что касается Крайги, то ему это, может быть, и безразлично: ему все равно болтаться на виселице; но мне бы не хотелось позорить свой древний род такой бесславной смертью, да еще ради чужого человека.

– Я очень сожалею, джентльмены, что причинил вам столько хлопот, – сказал Рэвенсвуд, – но я оставляю за собой право самому решать свои дела и не собираюсь никому давать в них отчет. Я изменил свое намерение и пока остаюсь в Шотландии.

– Остаетесь! – воскликнул Крайнгельт. – Вы остаетесь после того, как я потратил на вас столько сил и денег: подверглся опасности быть узнанным, заплатил за фрахт и простой судна!

– Сэр, – ответил Рэвенсвуд, – когда я принял поспешное решение покинуть родину, я воспользовался вашим любезным предложением доставить мне средства к отъезду, но, насколько мне помнится, я не брал на себя обязательств уехать во что бы то ни стало, даже в том случае, если я изменю свое решение. Я приношу вам свои сожаления и благодарность за ваши хлопоты обо мне. Что же касается ваших издержек, – прибавил он, опуская руку в карман, – то есть

средство уладить дело: я не знаю, что стоит фрахт и простой судна, но вот мой кошелек, возьмите, сколько вам следует.

И Рэвенсвуд протянул самозваному капитану кошелек с несколькими золотыми.

Но тут настала очередь Бакло вмешаться.

– Я вижу, Крайги, – сказал он, – что у вас так и чешутся руки схватить этот кошелек; но клянусь небом, если вы к нему прикоснетесь, я отрублю вам этой шпагой пальцы. Раз Рэвенсвуд изменил свое намерение, нам больше незачем здесь оставаться. Я только просил бы позволения сказать...

– Говорите, пожалуйста, – перебил его капитан, – но прежде я должен указать мастеру Рэвенсвуду на все неудобства, которым он подвергается, расставаясь с нами, и напомнить ему обо всех опасностях, ожидающих его здесь, а также о трудностях, с которыми он встретится в Версале или Сен-Жермене, если явится туда, не заручившись поддержкой тех, кто уже завязал там нужные связи.

– Не говоря о том, что он потеряет дружбу по крайней мере одного честного и благородного человека, – прибавил Бакло.

– Джентльмены, – возразил Рэвенсвуд, – позвольте мне еще раз вам заметить, что вы придали нашему мимолетному знакомству гораздо больше значения, чем я ожидал. Если мне вздумается отправиться служить при иностранном дворе, я обойдусь без рекомендации интригана и авантюриста, и я не нахожу нужным дорожить дружбой шалого сорванца.

И, не ожидая ответа, Рэвенсвуд вышел из комнаты, сел на лошадь и ускакал.

– Черт возьми, – воскликнул Крайгенгельт, – я потерял рекрута!

– Да, капитан, – подтвердил Бакло, – рыба ушла вместе с крючком и наживкой. Но я догоню его: он наговорил мне таких дерзостей, каких я не могу ему спустить.

Крайгенгельт вызвался сопровождать приятеля, но Бакло отклонил это предложение.

– Не стоит, капитан! – воскликнул он. – Сидите у камина и ждите моего возвращения. В непродырявленной шкуре лучше спится.

Старуха за печкой не ведает стужи.

Как знать ей, что ветер бушует снаружи.

И, напевая эту веселую песенку, Бакло вышел из комнаты.

Глава VII

*Ну, Билли Бьюик, нам, пожалуй,
Добром не разойтись;
И коль ты вправду храбрый мальй,
Со мной сейчас сразись.*
Старинная баллада

Увидав, в каком состоянии находится его запасная лошадь, Рэвенсвуд сел на иноходца, на котором приехал, и, чтобы не загнать его окончательно, пустил шагом по направлению к старой башне «Волчья скала». Внезапно он услышал за собой конский топот и, оглянувшись, увидел, что за ним гонится Бакло, немного замешкавшийся при выезде из трактира, ибо слишком велико было искушение подробно объяснить конюху, как лечить хромую лошадь; однако он наверстал потерянное время, пустив коня вскачь, и настиг Рэвенсвуда в том самом месте, где дорога проходила по вересковой пустоши.

– Остановитесь, сэр! – крикнул Бакло. – Я не какой-нибудь политический агент вроде капитана Крайгенгельта, который так дорожит своей жизнью, что боится рисковать ею ради чести. Я Фрэнк Хейстон из Бакло. Всякий, кто нанесет мне оскорбление действием или словом, жестом или взглядом, должен дать мне удовлетворение.

– Отлично, мистер Хейстон из Бакло, – ответил Рэвенсвуд очень спокойным и равнодушным тоном, – но я не имел с вами ссоры и не желаю ее иметь... Наши дороги, не только теперь, но и вообще, лежат в разных направлениях, и я не вижу причин для столкновений.

– Не видите? – запальчиво воскликнул Бакло. – Зато я вижу, черт возьми: вы называли нас интриганам и авантюристами.

– Выражайтесь точнее, мистер Бакло: эти слова относились только к вашему собутыльнику, и согласитесь, что он их заслуживает.

– Ну и что же, сэр? Он находился в моем обществе, а никто не смеет – прав он или не прав – оскорблять моего приятеля при мне.

– В таком случае, мистер Хейстон, – возразил Рэвенсвуд с прежним хладнокровием, – вам следует быть строже в выборе приятелей; боюсь, что в роли их заступника вы не оберетесь хлопот. Послушайтесь доброго совета: поезжайте-ка домой да выпитесь хорошенько. Завтра вы посмотрите на это дело спокойнее.

– Ну нет, сэр, вы не за того меня принимаете. От меня вы не отделаетесь вашим надменным тоном и мудрыми советами. Ко всему прочему, вы называли меня шалым сорванцом и, если хотите кончить дело миром, извольте взять свои слова назад.

– Говоря по чести, вряд ли я это сделаю, если вы не измените своего поведения и не покажете мне, что я ошибался.

– Ах так, сэр! – вскипел Бакло. – Весьма сожалею, но, при всем моем уважении к вам, я требую, чтобы вы либо немедленно извинились передо мной за ваши дерзости и взяли их назад, либо назначайте время и место.

– В этом нет необходимости, – ответил Рэвенсвуд. – Я сделал все от меня зависящее, чтобы избежать ссоры, но если вы настаиваете, то это поле не хуже любого другого.

– Так долой с лошади и обнажайте шпагу! – воскликнул Бакло, первый подавая тому пример. – Я всегда думал и говорил, что вы молодец, и мне не хотелось бы менять свое мнение.

– Я не собираюсь давать вам повод к этому, сэр, – ответил Рэвенсвуд, соскакивая с лошади и принимая оборонительное положение.

Шпаги тотчас скрестились, и поединок начался. Бакло, заядлый дуэлянт, владевший шпагой с удивительной ловкостью и проворством, повел бой с большим жаром. Но на этот раз

его искусство ему не помогло: раздраженный холодным и презрительным обращением Рэвенсвуда, в особенности тем, что тот не сразу принял его вызов, он, не умея сдерживать нетерпение, бросился на противника с неосмотрительной горячностью. Рэвенсвуд, не менее искусно владевший шпагой, но обладавший большей выдержкой, только защищался и даже не пожелал воспользоваться несколькими промахами не в меру горячившегося врага. Наконец Бакло сделал отчаянный выпад, но, вместо того чтобы поразить Рэвенсвуда, поскользнулся и упал на траву.

– Дарю вам жизнь, сэр, – сказал Рэвенсвуд, – постарайтесь исправиться.

– Боюсь, ничего путного из меня уже не получится, – ответил Бакло, медленно поднимаясь и беря шпагу: он был гораздо меньше расстроен исходом поединка, чем можно было бы ожидать при неуравновешенности его нрава. – Благодарю вас за великодушие. Вот вам моя рука: я несколько не сержусь на вас за свою неудачу и ваше искусство.

Рэвенсвуд пристально посмотрел на него и, протянув руку, сказал:

– Вы благородный человек, Бакло. Я виноват перед вами и чистосердечно прошу прощения за необдуманные и обидные слова; сознаюсь, они несправедливы.

– Правда? – обрадовался Бакло, и лицо его тотчас приняло свойственное ему беспечно-нагловатое выражение. – Вот уж чего я меньше всего ожидал! Говорят, вы неохотно отказываетесь от своих слов и убеждений.

– Я никогда не отказываюсь от своих слов, если говорю обдуманно.

– Значит, вы благоразумнее меня: я всегда сначала дерусь, а потом уже объясняюсь. Если противник убит, то все счета кончены; если же нет, то мир всего легче заключить после войны. Но что надо этому крикуну? – прибавил Бакло, указывая на мальчика верхом на осле. – Жаль, что он не прибыл сюда несколькими минутами раньше. Впрочем, мы бы все равно кончили так или иначе; и, право, я вполне доволен исходом дела.

Тем временем мальчик, ударами палки заставлявший осла нестись во всю прыть, приблизился к ним и, подобно одному из героев Оссиана^[51], принялся возглашать новости еще издали.

– Джентльмены, джентльмены! – кричал он. – Спасайтесь! Хозяйка послала сказать вам, что в гостинице солдаты. Они схватили капитана Крайгенгельта и ищут мистера Бакло. Уезжайте отсюда, да поскорее!

– Клянусь честью, ты прав, дружище, – сказал Бакло. – Вот тебе шестипенсовик за предупреждение. Я дал бы вдвое тому, кто указал бы, куда мне ехать.

– Пожалуйста, Бакло, – отозвался Рэвенсвуд, – поедem ко мне в «Волчью скалу»; в моей старой башне найдутся такие уголки, где вас не отыщет и тысяча солдат.

– Это может навлечь на вас беду, Рэвенсвуд. Если вы еще не спутались с якобитами, то не к чему мне втягивать вас в такое дело.

– Пустое, мне нечего бояться.

– В таком случае я с радостью поеду с вами; по правде говоря, я не знаю, куда Крайгенгельт собирался отвести нас, а если его схватили, он не преминет рассказать властям всю правду обо мне да сочинит тысячу небылиц о вас, лишь бы самому спастись от петли.

Молодые люди тотчас сели на коней и, свернув с проезжей дороги, поскакали пустынным вересковым полем, выбирая уединенные тропинки, которые им, как охотникам, были хорошо известны, но совершенно неведомы другим. Они долго ехали молча, двигаясь со всей быстротой, на какую был способен усталый иноходец Рэвенсвуда; наконец совершенно стемнело, и они пустили лошадей шагом, отчасти потому, что с трудом различали дорогу, отчасти же потому, что считали себя уже вне опасности.

– Ну, кажется, можно чуть отпустить поводья, – сказал Бакло, – и, если позволите, я бы хотел задать вам один вопрос.

– Сделайте одолжение, – ответил Рэвенсвуд. – Но прошу не обижаться, если я не сочту нужным на него ответить.

– Пожалуйста, – возразил его недавний противник. – Просто я хотел спросить, какого дьявола вы, человек с такой хорошей репутацией, решили связаться с таким мошенником, как Крайгенгельт, и с таким сорвиголовой, каким слывет Бакло.

– Очень просто: я был в отчаянном положении и искал себе в товарищи отчаянных людей.

– Так почему же вы вдруг ни с того ни с сего порвали с нами? – продолжал Бакло.

– Потому что изменил свои планы, – ответил Рэвенсвуд, – и отказался, во всяком случае на время, от того, что задумал. Вы видите, я честно и откровенно отвечаю на ваши вопросы. Ответьте же теперь на мой: что заставляет вас водить дружбу с Крайгенгельтом, человеком настолько ниже вас как по рождению, так и по своим понятиям?

– По правде говоря, только то, что я дурак и промотал свое состояние. Моя двоюродная бабка, леди Гернингтон, решила, по-видимому, жить второй век. Единственная моя надежда – это перемена правительства. С Крайги я познакомился за картами. Он сразу же смекнул, в каком я положении, – дьявол, он всегда тут как тут, – наговорил с три короба о своих полномочиях из Версаля и о связях в Сен-Жермене, пообещал выхлопотать мне капитанский чин в Париже, а я, такой олух, попался на удочку. Уверен, что теперь он уже успел понаскзать обо мне властям немало хорошеньких историй. Вот до чего довели меня вино, карты, женщины, петушиные бои, борзые и лошади.

– Да, Бакло, – ответил Рэвенсвуд, – вы вскормили на своей груди множество гадюк, которые теперь вас же терзают.

– Что правда, то правда; но, не во гнев вам будь сказано, вы тоже пригрели на своей груди огромного гада, который пожрал всех прочих; он наверняка проглотит и вас, не хуже чем мои шесть гадюк прикончат все, что еще осталось у бедного Бакло, хотя мой конь да я сам – вот все, что у меня есть.

– Я не могу быть на вас в обиде за ваши слова – я первый подал вам пример, – ответил Рэвенсвуд, – но, говоря без метафор, в какой чудовищной страсти вы меня обвиняете?

– В жажде мести, сэр, в жажде мести. А эта страсть, которая не менее к лицу джентльмену, чем страсть к вину, веселым пирушкам и всему такому прочему, тоже недостойна христианина, но не в пример кровавее. Куда лучше сломать ограду, выслеживая лань или девчонку, чем застрелить старика.

– Неправда! – воскликнул Рэвенсвуд. – У меня никогда не было подобного намерения, клянусь честью! Я хотел только, прежде чем покинуть отчизну, встретиться наедине с гонителем моего рода, чтобы бросить ему в лицо обвинение в произволе и беззаконии. Я нарисовал бы ему такую картину несправедливости, что его душа содрогнулась бы от ужаса.

– Возможно, – согласился Бакло. – Но старик тут же взял бы вас за шиворот и позвал бы на помощь слуг, и тогда, надо полагать, вы в свою очередь взяли бы и вытрясли из него эту самую душу. Да одного вашего вида вполне достаточно, чтобы запугать его до смерти.

– Не забывайте о тяжести его вины! Не забывайте, что его жестокосердие принесло нам гибель и смерть: он разорил наш древний род, он убил моего отца. В старину в Шотландии человек, который молча снес бы такие кровные обиды, считался бы не только недостойным руки друга, но даже шпаги врага.

– Признаюсь, Рэвенсвуд, приятно видеть, что черт умеет опутать других людей не хуже, чем тебя. Всякий раз, когда я собираюсь сделать какую-нибудь глупость, он неизменно уверяет меня, что в целом свете не найти поступка благороднее, разумнее и полезнее: я только тогда замечаю, куда я влез, когда уж по пояс увяз в трясине. Вот вы тоже могли бы сделаться убийцей, лишив человека жизни исключительно из уважения к памяти своего отца.

– Вы рассуждаете куда разумнее, чем, судя по вашему поведению, можно от вас ожидать. Вы правы: пороки прокрадываются к нам в душу в образах внешне столь же привлекательных,

как те, которые, по мнению суеверных людей, принимает дьявол, желая овладеть человеком, и мы только тогда замечаем их, когда уже слишком поздно.

– Но в нашей власти отделаться от них, – возразил Бакло, – и я это обязательно сделаю, как только умрет леди Гернингтон.

– Вам известно выражение английского богослова^[52]: «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями»? – заметил Рэвенсвуд. – Или другими словами: мы чаще обещаем, чем выполняем?

– Ладно, – ответил Бакло, – я начну с сегодняшнего вечера. Клянусь не пить зараз больше кварты, ну разве что ваше бордо окажется особенно вкусным.

– В «Волчьей скале» у вас вряд ли будет много искушений, – заверил его Рэвенсвуд. – Боюсь, что я могу предложить вам только кров. Все наше вино и съестные припасы уничтожены во время поминального пиршества.

– Дай бог, чтобы по такому поводу они вам подольше не понадобились вновь, – заметил Бакло. – Но зачем же было выпивать все до капли: это, говорят, приносит несчастье.

– Мне все приносит несчастье, – сказал Рэвенсвуд. – А вот и «Волчья скала». Все, что еще осталось в замке, – к вашим услугам.

Шум моря уже давно возвестил путникам, что они приближаются к утесу, на вершине которого предок Рэвенсвуда, словно горный орел, свил себе гнездо. Бледная луна, долго состоявшаяся с легкими облачками, теперь выглянула из-за них и осветила башню, одиноко возвышавшуюся на крутой скале, нависшей над Северным морем. С трех сторон скала была почти отвесная, четвертую, обращенную к материку, некогда защищал искусственный ров с подъемным мостом, но мост сломался и разрушился, а ров почти совсем завалило, и теперь ничто не мешало всаднику проникнуть на узкий двор, застроенный с двух сторон службами и конюшнями, наполовину уже развалившимися; спереди, со стороны материка, двор заканчивался зубчатой стеной; с противоположной стороны высилась сама башня – высокая и узкая, с серыми каменными стенами, она при тусклом лунном свете казалась призраком в прозрачном одеянии. Трудно было представить себе жилище печальнее и уединеннее. Где-то далеко внизу слышался зловещий, тяжелый гул беспрестанно разбивавшихся о скалы волн, и этот звук, как и вся открывавшаяся взору картина, казался символом неизбывной тоски и ужаса.

Хотя сумерки только что ступились, ничто в этом одиноком жилище не обнаруживало присутствия живого существа; только в одном из узких зарешеченных окон, прорубленных на разной высоте и на неравных расстояниях друг от друга, мерцал огонек.

– Это комната единственного слуги, который еще остался в нашем доме, – сказал Рэвенсвуд. – Счастье, что он здесь. Не будь его, мы не нашли бы ни огня, ни света. Поезжайте за мной следом; дорога узка, и можно проехать только по одному.

В самом деле, тропинка шла теперь по узкой полоске земли, соединявшей материк со скалой, на дальнем конце которой стояла башня. Выбор места и стиль постройки говорили о том, что шотландские бароны больше заботились о неприступности жилья, чем о его удобствах.

Осторожно продвигаясь вперед, путники благополучно въехали во двор. Но прошло еще много времени, прежде чем усилия Рэвенсвуда, громко стучавшего в низкую входную дверь, увенчались успехом, хотя он не переставал звать Калеба, приказывая ему отпереть калитку и впустить их.

– Старик, должно быть, уехал, или с ним приключился обморок, – сказал наконец владелец этого мрачного жилища. – Даже семь эфесских отроков проснулись бы от такого грохота^[53].

Наконец послышался робкий, дрожащий голос:

– Мастер Рэвенсвуд, мастер Рэвенсвуд, это вы?

– Я, Кaleb, я, отворите же поскорее.

– Вы ли это или дух ваш? Уж лучше бы мне явилось полсотни дьяволов, чем призрак моего господина или даже бессмертная его душа. Прочь! Прочь! Будь вы стократ мой господин, я не пушу вас, если вы не человек из плоти и крови.

– Да я же это, я, глупый старик, – возразил Рэвенсвуд. – Из плоти и крови, живой, хотя и полумертвый от холода.

Свет в верхнем окне исчез и, постепенно снижаясь, замелькал то в одной, то в другой бойнице – очевидно, Калев, несший лампу, спускался по винтовой лестнице, устроенной в одной из угольных башенок старого замка. Он шел очень медленно, и это вызвало несколько нетерпеливых восклицаний Рэвенсвуда и немало проклятий у его менее терпеливого и более пылкого спутника. Но прежде чем отодвинуть засов, слуга снова заколебался и еще раз спросил, действительно ли люди, а не бесплотные духи просят пустить их в замок в столь поздний час.

– Если бы я мог до тебя добраться, старый дурак, – воскликнул Бакло, – я бы тебе показал, какой я бесплотный дух.

– Отворайте, Калев, – приказал Рэвенсвуд более мягким тоном: во-первых, он привык уважать верного старого слугу, а во-вторых, возможно, понимал всю бесполезность угроз, пока между ними и Калевом находилась крепкая дубовая дверь, окованная железом.

Наконец, приподняв дрожащей рукой железный засов, Калев отворил тяжелую дверь и предстал перед путниками. Это был худой, белый как лунь старик с большой лысиной и крупными чертами лица, особенно четко выступавшими при свете мерцавшей лампы, которую он держал в правой руке, тогда как левой заслонял пламя от ветра. Испуганно-почтительные взгляды, которые он бросал вокруг себя, резкий контраст между ярко освещенным лицом и закрытыми тенью сединами могли бы послужить сюжетом для превосходной картины; но наши путешественники горели нетерпением укрыться от надвигавшейся бури, а потому не стали предаваться созерцанию его живописной внешности.

– Вы ли это, мой дорогой господин, вы ли это? – воскликнул старый слуга. – Горе мне! Заставить вас дожидаться у ворот вашего собственного замка; но кто бы мог подумать, что вы возвратитесь так скоро, а с вами незнакомый джентльмен... – Тут Калев прервал свою речь и заметил, так сказать, в сторону, обращаясь к кому-то внутри замка и явно не предназначая своих слов для тех, кто ждал во дворе: «Эй, Мизи, Мизи, пошевеливайся, ради бога! Скорее разведи огонь! Возьми старый трехногий стул, возьми что угодно, лишь бы горело». – Боюсь, у нас мало припасов: мы ждали вас не раньше чем через несколько месяцев. Уж тогда бы постарались принять вас, как подобает вашему высокому званию и рождению. Но что поделаешь...

– Что поделаешь, Калев, – прервал его Рэвенсвуд. – Наши лошади нуждаются в отдыхе, да и мы тоже. Надеюсь, вы не огорчены тем, что я возвратился раньше, чем собирался?

– Огорчен, милорд!.. Для всех честных людей вы всегда останетесь милордом, как ваши предки все эти триста лет, которые были лордами, не спрашивая на это соизволения какого-нибудь вига...^[54] Сожалеть о возвращении лорда Рэвенсвуда в один из его родовых замков! – Тут он снова зашептал в сторону, обращаясь к своей невидимой помощнице, находившейся где-то за сценой: «Мизи, зарежь сейчас же курицу, что сидит на яйцах. И без разговоров! Не твоя забота!» – Это не лучший из наших замков, – продолжал он, поворачиваясь к Бакло. – Просто крепость, в которой лорд Рэвенсвуд скрывается, – то есть... я хотел сказать, не скрывается, а уединяется в смутное время, вот как сейчас, когда ему нельзя удалиться в глубь страны, в одно из главных своих поместий; к слову сказать, стены башни очень древние и, говорят, заслуживают внимания.

– Поэтому вы решили дать нам время полюбоваться ими, – сказал Рэвенсвуд, забавляясь уловками, которые изобретал старик, стараясь подольше продержат путников перед закрытой дверью, в то время как верная его сообщница Мизи делала все необходимые приготовления в замке.

– О! Меня мало заботит, как выглядят стены снаружи, любезнейший, – заметил Бакло. – Покажите-ка лучше, что у вас там внутри, да отведите лошадей на конюшню, вот и все.

– Да, сэр, слушаю, сэр... Милорд и его высокочтимый друг...

– Наши лошади, старина, наши лошади... – перебил его Бакло. – После такой утомительной и долгой дороги они охромеют, стоя тут на холоде, а мой конь слишком хорош, чтобы его портить. Так вот, займитесь-ка лошадьми!

– Ах да, лошади... Сейчас крикну конюхов, – засуетился Калев и громовым голосом, разнесшимся по всему двору, заорал: – Эй, Джон! Уильям! Сондерс!.. Мошенники... Они или спят, или ушли куда-нибудь, – прибавил он, подождав несколько минут ответа, которого, он знал, ему не от кого было ждать. – Когда хозяин в отъезде, все в доме не так. Я сам позабочусь о лошадях.

– И отлично сделаете, – сказал Рэвенсвуд, – а то как бы бедные животные не остались и вовсе без ухода.

– Тише, милорд, ради бога тише, – шепнул Калев на ухо Рэвенсвуду умоляющим тоном. – Если вы не дорожите своей честью, то пощадите мою: и без того будет трудно хоть сколько-нибудь прилично устроить вас на ночь, как бы я тут ни старался.

– Ничего, ничего, – успокоил его Рэвенсвуд. – Отведите лошадей на конюшню. Надеюсь, сено и овес у нас найдутся.

– О, сена и овса вдоволь, – решительно и громко объявил Калев и тут же прибавил вполголоса: – После похорон осталось несколько мер овса и немного сена.

– Хорошо, – сказал Рэвенсвуд, взяв лампу из рук слуги, который, казалось, неохотно ее уступил. – Я сам посвечу гостю.

– Как можно, милорд! Ни в коем случае! Если б вы только потерпели несколько минут, ну самое большее четверть часа, и полюбовались Басом^[55] и Норт-Бериком^[56] при лунном свете, пока я займусь лошадьми, я бы проводил вас в замок со всеми подобающими вашей светлости и вашему высокочтимому гостю почестями. К тому же серебряные канделябры убраны, а разве лампа достойна...

– Она вполне нас удовлетворит, – сказал Рэвенсвуд. – Вам же в конюшне огонь ни к чему: насколько мне помнится, ветром снесло с нее полкрыши.

– Точно так, милорд, – ответил верный слуга и сразу нашелся, добавив: – Какое ленивое отродье эти кровельщики! Все еще не явились чинить крышу, милорд!

– Если бы у меня хватало духу смеяться над невзгодами моего семейства, – сказал Рэвенсвуд, провожая гостя наверх, – бедный старик дал бы мне немало поводов для смеха. Он помещан на том, чтобы представить наше жалкое хозяйство не таким, каково оно на самом деле, а каким, по его мнению, оно должно быть, и, по правде говоря, хитрости, на которые пускается мой бедный дворецкий, пытаюсь добыть то необходимое, без чего, по его понятиям, невозможно поддержать честь семьи, и его пространные извинения, когда, несмотря на всю свою изобретательность, он не может раздобыть замену недостающим предметам, – все это уже не раз забавляло меня. Однако хотя башня и невелика, но без него мне будет трудно отыскать комнату, где затоплен камин.

С этими словами Рэвенсвуд отворил дверь.

– Ну, здесь по крайней мере, – сказал он, – не видно ни огня, ни постели.

И точно, глазам путников представилась картина печального запустения. Большой зал с резными сводами, напоминавшими своды Вестминстер-холла^[57], оставался почти в том же состоянии, в каком гости покинули его после поминок. На большом дубовом столе грудой лежали опрокинутые кувшины, мехи, оловянные стопы и баклаги; пол был усеян осколками бокалов, этих хрупких сосудов веселья, принесенных в жертву восторженными гостями. Что же касается серебряной посуды, которой ради такого случая друзья и родственники снабдили Рэвенсвуда, то они же и унесли ее тотчас после буйной попойки, столь же ненужной, сколь

и несвоевременной. Словом, в этом зале не было и намека на благоденствие, напротив, все говорило о недавней расточительности и нынешнем запустении. Черное сукно, заменившее во время похоронного пира изъеденные молью ткани, было наполовину сорвано и свисало со стен лохмотьями, обнаруживая голые, даже не оштукатуренные камни. Вид перевернутых, брошенных где попало стульев довершал общую картину, давая понять, какой беспорядок царил в этих стенах под конец поминальной оргии.

– Этот зал, мистер Бакло, был местом разгула, а не скорби, – сказал Рэвенсвуд, приподняв лампу. – Что ж, вполне справедливо, если он имеет столь скорбный вид теперь, когда мог бы выглядеть радостно.

Путники покинули это печальное место и двинулись дальше; отворив понапрасну еще несколько дверей, они вошли наконец в небольшую комнату, пол которой был устлан циновками, а в камине, к великому их удовольствию, пылало пламя, – очевидно, следуя указаниям Калеба, Мизи ухитрилась наскрести немного пищи для огня. Радуюсь в душе, что в замке нашелся уютный уголок, на что, казалось, было трудно рассчитывать, Бакло подошел к камину и, удовлетворенно потирая руки, добродушно выслушал извинения Рэвенсвуда.

– К сожалению, я не могу предложить вам никаких удобств, – сказал он. – Я сам их не имею. В этих стенах давно уже не знают, что такое комфорт, а может быть, никогда и не ведали; но приют и безопасность, пожалуй, я могу вам обещать.

– И прекрасно, – ответил Бакло, – мне больше ничего и не надо. А если к этому прибавить добрый ростбиф да глоток вина, я буду вполне удовлетворен.

– Боюсь, что вас действительно ждет очень скудный ужин, – сказал Рэвенсвуд, – я слышу, как совещаются Кaleb и Мизи. При всех его достоинствах, бедняга Болдерстон, к несчастью, глуховат, и его секреты слышны всем, в особенности тем, от кого он больше всего стремится скрыть свои проделки... Тише!

Хозяин и гость прислушались; из соседней комнаты до них донесся голос Калеба. Старый слуга наставлял Мизи.

– Выше голову, Мизи, выше голову! – поучал он. – Под хорошим соусом все можно подать.

– Но курица старая, она будет жестка, как подошва.

– Скажешь, что ошиблась. Не ту взяла, – увещевал верный Кaleb, стараясь говорить вполголоса. – Возьми все на себя; только бы не пострадала честь дома.

– Но курица... – возразила Мизи. – Она сидит на яйцах где-то под тронем в зале. Я боюсь идти туда в темноте: там привидения, и потом мне все равно ее не найти. Там темно, как в пропасти, а в доме нет другой лампы, кроме той, что у господ. А если я даже и поймаю курицу, ведь надо же ее ощипать, выпотрошить, изжарить. А как же все это сделать, когда они сидят у единственного в доме огня!

– Ну, будет, будет, – проворчал старый слуга, – подожди здесь минуту. Сейчас я постараюсь взять у них лампу.

И Кaleb Болдерстон вошел в комнату, несколько не подозревая, что там слышали всю предшествующую интермедию.

– Ну что ж, старина, есть ли надежда на ужин? – спросил Рэвенсвуд.

– Надежда на ужин, милорд? – повторил Кaleb, делая вид, что он глубоко оскорблен сомнением, прозвучавшим в голосе хозяина. – Как вы можете спрашивать? Разве мы не в доме вашей светлости? Надежда на ужин! Тоже скажете. Но ведь говядину вы есть не станете! У нас пропасть жирной птицы, так и просится на вертел или на рашпер. Зажарь каплуна, Мизи! – закричал он с такой уверенностью, словно в доме и впрямь водились каплуны.

– Не надо мне каплуна, – остановил его Бакло, считая долгом вежливости облегчить бедному дворецкому его тяжелые обязанности. – У вас найдется немного холодного мяса или просто кусок хлеба?

– Сейчас принесу отличных овсяных лепешек! – воскликнул Калев, у которого словно гора свалилась с плеч. – А что до холодного мяса, так холодного у нас в доме, слава богу, предостаточно. Правда, после похорон все остатки мяса и пирогов, как полагается, роздали бедным, однако ж...

– Будет, Калев, – прервал его Рэвенсвуд, – пора кончать. Мой гость, молодой лэрд Бакло, скрывается от преследования, и потому...

– Он не будет взыскательнее вашей милости, – понимающе кивнул Калев, сразу повеселев. – Очень сожалею, что у джентльмена неприятности, но от души рад, что он не станет бранить наше хозяйство, раз у него самого дела не лучше наших... Не скажу, чтоб наши дела были плохи, слава богу, нет, – прибавил он, тотчас отрекаясь от вырвавшегося у него в порыве радости признания, – но разве сравнишь с тем, что было, или с тем, что должно быть! Ну а что касается ужина... Что за беда, если и приврешь немного? У нас есть баранья лопатка, ее подавали на стол всего три раза, а, как вашим милостям известно, чем ближе к кости, тем мясо слаще; потом есть немного овечьего сыра, кусочек превосходного масла и... и... Но этого, вероятно, будет достаточно.

Калев с готовностью извлек скромные припасы и со всей подобающей случаю торжественностью разместил их на круглом столике перед молодыми людьми, которые, нимало не смущаясь скудостью и незатейливостью трапезы, тут же за нее принялись. Калев подавал тарелки с особой предупредительностью, словно надеялся почтительным обхождением замечать отсутствующих слуг.

Но, увы! Когда имеешь дело с голодным гостем, даже самое тщательное, самое точное соблюдение церемониала не может возместить существенной части обеда. Уничтожив значительную часть уже и без того порядком обглоданной баранины, Бакло потребовал эля.

– Не смею предложить вам нашего эля, – ответил Калев, – нехорошо вышло сусло, да и гроза была; но, сэр, такой воды, как в нашем колодце, клянусь, вы никогда не пили!

– Ну, если эль прокис, дайте вина, – сказал Бакло, морщась при одном упоминании о чистой влаге, так горячо рекомендуемой Калевом.

– Вина? Слава богу, вина у нас предостаточно, – храбро соврал Калев. – Всего два дня тому назад... не дай бог никому пить по такому поводу... в этом доме выпили столько вина, что хватило бы для спуска шлюпки. Уж в чем в чем, а в вине у лорда Рэвенсвуда никогда не было недостатка.

– Так перестаньте угощать нас разговорами и подайте вина! – отозвался хозяин дома, и Калев пустился в путь.

Спустившись в погреб, он опрокинул все бочонки, уже пустые, и стал трясти их в отчаянной надежде нацедить со дна хоть немного бордо, надеясь наполнить принесенную им с собою кружку. Увы, они были уже старательно осушены, и, даже пустив в ход весь свой опыт, всю свою смекалку, старый дворецкий не набрал и кварталы мало-мальски пригодного вина.

Однако Калев был слишком искусным стратегом, чтобы покинуть поле битвы без всякой попытки прикрыть свое отступление. Не теряя присутствия духа, он бросил на пол пустую кружку, делая вид, что поскользнулся на пороге, крикнул Мизи, чтобы та подтерла вино, которое вовсе не проливал, и, поставив на стол другую кружку, выразил надежду, что для их милостей осталось еще довольно. Действительно, вина оказалось вполне достаточно, ибо даже Бакло, верный друг виноградной лозы, не нашел в себе сил возобновить атаку на винные погреба «Волчьей скалы» и согласился, хотя и неохотно, удовольствоваться стаканом воды. Теперь предстояло устроить гостя на ночлег, и так как ему предназначалась потайная комната, то перед Калевом открылись первоклассные возможности правдоподобнейшим образом объяснить убожество ее убранства, нехватку постельного белья и прочее.

– Кому бы пришло в голову, – говорил он, – что понадобится наш тайник. Он пустует со дня заговора Гаури^[58], и не мог же я пустить сюда женщину; вы, ваша милость, сами понимаете, что после этого убежище недолго оставалось бы потайным.

Глава VIII

*Столбы пустые стояли угрюмо,
Чернел холодный и мертвый камин,
Ни звона чаш, ни веселого шума...
«Здесь радости мало», – промолвил Линн.*

Старинная баллада

Возможно, что Рэвенсвуду в заброшенной башне «Волчья скала» были не чужды те чувства, которые охватили расточительного наследника Линна^[59], когда, как рассказывается в превосходной старинной песне, промотав все свое состояние, он остался единственным обитателем пустынного жилища. Рэвенсвуд имел, однако, преимущество над блудным сыном баллады; как бы то ни было, он дошел до нищеты не по собственной глупости. Он унаследовал свои несчастья от отца вместе с благородной кровью и титулом, который вежливые люди могли употреблять перед его именем, а грубые – опускать, как кому заблагорассудится, – вот и все наследство, доставшееся ему от предков.

Быть может, эта печальная и вместе с тем утешительная мысль несколько успокоила бедного молодого человека. Утро, рассеивая ночные тени, располагает к спокойным размышлениям, и под его воздействием бурные страсти, волновавшие Рэвенсвуда накануне, несколько поулеглись и утихли. Он был теперь в состоянии анализировать противоречивые чувства, его волновавшие, и твердо решил бороться с ними и преодолеть их. В это светлое тихое утро даже пустынная, поросшая вереском равнина, которая открывалась взору со стороны материка, казалась привлекательной; с другой стороны необозримый океан, грозный и вместе с тем благодушный в своем величии, катил подернутые серебристой зыбью волны. Подобные мирные картины природы приковывают к себе человеческое сердце, даже взволнованное страстями, побуждая на благородные и добрые поступки.

Покончив с исследованием своего сердца, которое на этот раз он подверг крайне суровому допросу, Рэвенсвуд первым делом отыскал Бакло в отведенном ему убежище.

– Ну, Бакло, как вы себя чувствуете сегодня? – приветствовал он гостя. – Как вам спалось на ложе, на котором некогда мирно почивал изгнанный граф Ангюс^[60], несмотря на все преследования разгневанного короля?

– Гм! – воскликнул Бакло, просыпаясь. – Мне не пристало жаловаться на помещение, которым пользовался такой великий человек; матрац, пожалуй, очень уж жесткий, стены несколько сыроваты, крысы злее, чем я ожидал, судя по количеству запасов у Калеба; и, мне кажется, если бы у окон были ставни, а над кроватью полог, комната бы много выиграла.

– Действительно, здесь очень мрачно, – сказал Рэвенсвуд, оглядываясь кругом. – Вставайте и пойдемте вниз. Кaleb постарается покормить вас сегодня за завтраком лучше, чем вчера за ужином.

– Пожалуйста, не надо лучше, – взмолился Бакло, вставая с постели и пытаясь одеться, несмотря на царящий в комнате мрак. – Право, если вы не хотите, чтобы я отказался от намерения исправиться, не меняйте вашего меню. Одно воспоминание о вчерашнем напитке Калеба лучше двадцати проповедей уничтожило во мне желание начать день стаканом вина. А как вы, Рэвенсвуд? Вы уже начали доблестную борьбу с пожирающим вас гадом? Видите, я стараюсь понемногу расправиться с моим змеиным выводком.

– Начал, Бакло, начал, и во сне мне на помощь явился прекрасный ангел.

– Черт возьми! – сказал Бакло. – А мне вот неоткуда ждать видений. Разве что моя тетка, леди Гернингтон, отправится к праотцам, но и тогда, мне думается, скорее ее земное наследство, нежели общение с ее духом, поможет поддерживать во мне благие намерения. Что же

касается завтрака, Рэвенсвуд, то скажите: может быть, олень, предназначенный на паштет, еще бегаёт в лесу, как говорится в балладе?

– Сейчас справлюсь! – ответил Рэвенсвуд и, покинув гостя, отправился разыскивать Калеба.

Он нашел дворецкого в темной башенке, некогда служившей замковой кладовой. Старик усердно чистил старое оловянное блюдо, стараясь придать ему блеск серебра, и время от времени поощрял себя восклицаниями:

– Ничего, сойдет... кажется, сойдет, только бы они не ставили его слишком близко к свету...

– Возьмите деньги и купите все, что нужно, – прервал его Рэвенсвуд, подавая старому дворецкому тот самый кошелек, который накануне чуть не попал в цепкие когти Крайнгельта.

Старик покачал лысеющей головой и, взвесив жалкое сокровище на ладони, взглянул на хозяина с выражением глубочайшей сердечной муки.

– И это все, что у вас осталось? – спросил он горестно.

– Да, – сказал Рэвенсвуд, стараясь казаться веселым, – зеленый этот кошелек да золотых еще немного, как говорится в старинной балладе, – вот все, чем мы сейчас располагаем. Ну ничего, Калеб, когда-нибудь и наши дела поправятся.

– Боюсь, что к тому времени старая песня забудется, а старый слуга умрет, – возразил Калеб. – Впрочем, не следует мне говорить вашей милости такие слова, вы и так очень бледны. Спрячьте кошелек и держите при себе, чтобы при случае нашлось чем похвастаться перед приятелями. И если ваша милость позволит дать вам совет: показывайте его людям почаще, и тогда никто не откажет вам в кредите, хотя добро у нас было, да сплыло.

– Вы же знаете, Калеб, что я все еще не отказался от мысли в скором времени уехать отсюда, и мне хотелось бы покинуть родину с репутацией честного человека, не оставляя после себя долгов, во всяком случае таких, в каких повинен я сам.

– Конечно, вы должны оставить после себя добрую память, и так оно и будет. Но старый Калеб может взять все на себя, и тогда ответственность за долги падет на него. Я могу и в тюрьме пожить, если придется, а честь дома не пострадает.

Рэвенсвуд попытался было втолковать Калебу, что если он сам не хочет делать долгов, то тем более не потерпит, чтобы его дворецкий отвечал за них; однако Эдгар имел дело с премьер-министром, который был слишком поглощен изобретением новых способов для изыскания денежных средств, чтобы у него явилась охота опровергать доводы, говорящие об их несостоятельности.

– Энни Смолтраш откроет нам кредит на эль, – рассуждал он сам с собой, – она всю жизнь пользовалась покровительством дома Рэвенсвудов; быть может, удастся взять у нее в долг немного бренди; за вино не поручусь – она женщина одинокая и больше одного бочонка зараз не покупает; ну да ладно, правдою или неправдою, а бутылочку я у нее как-нибудь достану. Дичь нам будут поставлять наши крестьяне, хотя матушка Хирнсайд и говорит, что уже внесла вдвое против того, что следовало... Как-нибудь перебьемся, ваша милость! Перебьемся, не беспокойтесь: пока жив Калеб, честь вашего дома не пострадает.

И действительно, ценою бесконечных усилий Калеб ухитрился кормить и поить своего господина и его гостя в течение нескольких дней; угощение, правда, не отличалось великолепием, но Рэвенсвуд и его гость не были слишком требовательны, а мнимые промахи Калеба, его извинения, уловки и хитрости даже забавляли их, скрашивая скудные обеды, которые к тому же не всегда подавались вовремя. Молодые люди были рады любой возможности повеселиться и хоть как-нибудь убить томительно тянущееся время.

Вынужденный скрываться в замке и лишенный поэтому своих обычных занятий – охоты и веселых попок, Бакло сделался угрюм и молчалив. Когда Рэвенсвуду надоедало фехтовать

или играть с ним в мяч, Бакло отправлялся на конюшню, чистил своего скакуна, наводя глянец то щеткой, то скребницей, то специальной волосяной тряпкой, задавал ему корму и, наблюдая, как конь опускался на подстилку, чуть ли не с завистью смотрел на бессловесное животное, по-видимому вполне довольное такой однообразной жизнью.

«Глупая скотина не вспоминает ни о скачках, ни об охоте, ни о зеленом пастбище в поместье Бакло, – говорил он про себя. – Ее держат на привязи у кормушки в этом развалившемся склепе, и она так же счастлива, как будто родилась здесь; а я пользуюсь всей свободой, какая только доступна узнику, – могу бродить по всем закоулкам этой злосчастной башни – и не знаю, как дотянуть время до обеда».

В таком грустном расположении духа Бакло направлял свои стопы в одну из сторожевых башенок или к крепостным стенам замка и подолгу смотрел на поросшую вереском равнину или швырял камушками да обломками известки в бакланов и чаек, имевших неосторожность расположиться поблизости от молодого человека, не знающего, чем себя занять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Роман «Ламмермурская невеста» – четвертый из цикла «Рассказы трактирщика», вышедшего под вымышленным именем Питера Петтисона, – появился в 1819 г. В период его создания Вальтер Скотт был тяжело болен. Он диктовал «Ламмермурскую невесту» секретарям, которые тут же отправляли готовые страницы в типографию. В основу романа легла легенда, связанная с трагическим событием в семействе Джеймса Далримпла, лорда Стэра (1619–1695), шотландского государственного деятеля и юриста. Скоропостижная смерть его старшей дочери Дженет в 1659 г., последовавшая через месяц после ее свадьбы с шотландским дворянином Дэвидом Данбаром из Болдуна, вызвала множество толков. По одной из версий Дженет Далримпл тайно обручилась с лордом Рутвеном, но по настоянию матери, леди Стэр, была выдана замуж за Данбара. В припадке безумия Дженет пыталась в брачную ночь заколоть своего мужа. Спустя месяц она скончалась. Вальтер Скотт воспользовался этой легендой, но изменил место и время действия: события романа разворачиваются не в юго-западной части Шотландии, а в восточных районах страны, и на полвека позже.

2.

Панч и супруга его Джоан – главные действующие лица народного кукольного театра в Англии.

3.

Питер Петтисон – вымышленный автор «Ламмермурской невесты» и других романов («Черный карлик», «Пуритане», «Эдинбургская темница», «Легенда о Монтрозе», «Граф Роберт Парижский» и «Замок Опасный»), включенных Вальтером Скоттом в цикл «Рассказы трактирщика».

4.

...рычать, что твой соловушка... – Шекспир. «Сон в летнюю ночь» (акт I, сц. 2).

5.

...как пленный Самсон, всю жизнь вертеть жернова... – Согласно библейской легенде, Самсон был захвачен в плен филистимлянами, которые заставили его молоть зерно, а затем потребовали, чтобы он забавлял их во время празднества. Самсон, обладавший титанической силой, обрушил на своих врагов храм и сам погиб под его обломками.

6.

...эти чувства выражены в словах Овидия... – Древнеримский поэт Публий Овидий Назон (43 до н. э. – 17 н. э.), сосланный императором Августом на берег Черного моря, в последних произведениях («Скорбные послания» и «Послания с Понта») постоянно жаловался на свою судьбу и молил вернуть его в Рим. Далее цитируются «Скорбные послания».

7.

Тенирс Давид Младший (1610–1690) – фламандский художник, прославившийся жанровыми сценами из крестьянского быта.

8.

Уилки Дэвид (1785–1841) – шотландский художник; приобрел известность картинами на бытовые темы, главным образом из жизни шотландских крестьян.

9.

Поп Александр (1688–1744) – английский поэт, глава английского просветительского классицизма.

10.

Джедедия Клейшботэм – вымышленный издатель цикла романов Вальтера Скотта, выходивших под общим названием «Рассказы трактирщика».

11.

...клянусь душою сэра Джошуа... – Имеется в виду сэр Джошуа Рейнолдс (1723–1792), крупнейший английский художник XVIII в., основатель и первый президент английской Академии художеств.

12.

Уоллес Уильям (1270–1305) – национальный герой Шотландии; вел успешную борьбу против англичан. В 1305 г. в результате предательства Уоллес был захвачен в плен английским королем Эдуардом I (1272–1307) и казнен.

13.

Хогарт Уильям (1697–1764) – выдающийся английский живописец и теоретик искусства.

14.

Доменикино (Доменико) Дзампьеро (1581–1641) – итальянский художник, один из главных представителей итальянского академизма XVII в.

15.

Морленд Джордж (1763–1804) – английский художник, снискавший известность пейзажами и жанровыми картинами из быта крестьян, рыбаков и ремесленников.

16.

...на приз Общества... – Имеется в виду Британское общество – филантропическая организация, основанная с целью помощи художникам.

17.

Соммерсет-хауз – одно из лондонских зданий, в котором устраивались различные выставки. В настоящее время в нем находятся государственные учреждения.

18.

Босуэл – персонаж из романа Вальтера Скотта «Пуритане».

19.

Карл II Стюарт – король Англии и Шотландии с 1660 по 1685 г.

20.

Дэвид Динс – персонаж из романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница».

21.

Елизаветинская эпоха – период правления английской королевы Елизаветы I Тюдор (1558–1603).

22.

...в вандейковском костюме... – то есть в костюме, характерном для английской знати на портретах фламандского художника Антониса Ван Дейка (1599–1641), последние годы жизни (с 1632) работавшего при дворе английского короля Карла I Стюарта (1625–1649).

23.

Хинес де Пасамонт – персонаж из романа Сервантеса «Дон Кихот», ловкий плут, хозяин обезьяны прорицательницы, которая, по его словам, «ничего не сообщает касательно будущего, но только о прошлом и немного о настоящем».

24.

Пуф – персонаж из сатирической комедии английского драматурга Р. Шеридана (1751–1816) «Критик», автор представляемой по ходу действия трагедии. Одно из главных действующих лиц этой пьесы, лорд Берли, выражает свои суждения не словами, а покачиванием головы.

25.

«Генрих VI», ч. II – историческая хроника Шекспира. Эпиграф взят из акта V, сц. 3.

26.

Незадолго до революции... – Имеется в виду государственный переворот 1688–1689 гг., который в английской буржуазной историографии получил название «славной революции».

27.

В междоусобной войне 1689 года... – Имеется в виду якобитское восстание, целью которого было возратить престол королю Иакову II Стюарту, свергнутому переворотом 1688–1689 гг. Восстание это было подавлено.

28.

«В те дни не было царя у Израиля» – выражение, заимствованное из Библии и означающее отсутствие правителя в государстве.

29.

С той поры как Иаков VI покинул Шотландию... – В 1603 г. король Шотландии Иаков VI Стюарт (1567–1625), став английским королем под именем Иакова I, покинул Шотландию и в дальнейшем жил в Англии.

30.

Сент-джеймский двор – двор английского короля. В Сент-Джеймском дворце в Лондоне находилась резиденция английского короля.

31.

Бедствия, происходившие от этой системы правления, походили на несчастья, выпавшие на долю ирландских крестьян... – В результате покорения Ирландии Англией многие земли перешли в собственность английских землевладельцев, а ирландские крестьяне были превращены в арендаторов и батраков. Английские лендлорды, как правило не проживавшие в Ирландии, вскоре совершенно разорили страну и ее население.

32.

Абу-Хасан – персонаж из арабской сказки «Сон наяву, или Халиф на час», включенной в сборник сказок «Тысяча и одна ночь».

33.

Епископальная церковь (англиканская) – английская государственная церковь, основанная в 1534 г. Генрихом VIII (1509–1547). Епископальная церковь явилась компромиссом между католической и протестантской. Глава англиканской церкви – король; управление осуществляется на основе строгой иерархии. В Шотландии со второй половины XVI в. государственной церковью была пресвитерианская. Пресвитериане отрицали церковную иерархию и власть епископов. Управление церковными делами, по мнению пресвитериан, должно осуществляться выборными старейшинами. Пресвитериане находились в оппозиции к династии Стюартов.

34.

Партия тори, или кавалеров. – Тори – название английской политической партии, образовавшейся в 80-х гг. из противников билля 1860 г., по которому наследник престола герцог Йоркский (впоследствии Иаков II) лишался права наследования. Сторонники этого билля назывались вигами. Среди тори многие были сторонниками низложенного Иакова II Стюарта. Кавалерами в период гражданской войны во время английской буржуазной революции (1640–1660) называли сторонников короля Карла I Стюарта.

35.

Мастер – в Шотландии титул наследника барона или виконта.

36.

«Уильям Белл, Клайм из Клю и др.» – народная шотландская баллада «Адам Белл, Клайм из Клю и Уильям Клаудсли».

37.

Уна – персонаж из аллегорической поэмы английского поэта Эдмунда Спенсера (1552–1599) «Королева фей». Уну в ее странствиях сопровождает лев, укрощенный ее добротой и душевной чистотой.

38.

Миранда – персонаж из драмы Шекспира «Буря», дочь герцога Просперо, отправленная с ним в изгнание на необитаемый остров.

39.

...подобно тыкке пророка, способно взрасти за одну ночь... – Как рассказывается в Библии, Бог вырастил за одну ночь растение, чтобы пророк Иона мог спрятаться под его тенью от солнечных лучей.

40.

Тристрам – герой одноименного рыцарского романа XIII в., рыцарь, не имеющий себе равных в искусстве стрельбы, фехтования, верховой езды и т. д.

41.

Спенсер. – Эпиграф взят из «Королевы фей» (кн. III, 7).

42.

Так в долг врагу вся жизнь моя дана? – Шекспир. «Ромео и Джульетта» (акт I, сц. Б).

43.

Каледонские леса. – Каледония – древнее название Шотландии.

44.

Эгерия – в римской мифологии нимфа источника, возлюбленная римского царя Нумы Помпилия.

45.

Битва при Флоддене – сражение между англичанами и шотландцами 9 сентября 1513 г., в котором шотландцы потерпели жестокое поражение. В этой битве были убиты многие знатные дворяне и сам король Шотландии Иаков IV.

46.

...так же пагубно, как, для Грэма надеть зеленую одежду, для Брюса – убить паука или для Сен-Клера – переправиться через реку Орд в понедельник. – Имеются в виду старинные шотландские народные предания, в том числе и легенда о том, что паук предсказал шотландскому национальному герою Роберту Брюсу (1274–1329), впоследствии королю Шотландии Роберту I, победу над англичанами; с тех пор в роде Брюсов пауки считаются неприкосновенными.

47.

Макензи Генри (1745–1831) – шотландский писатель и драматург.

48.

Ирландская бригада. – В XVIII в. при дворах многих европейских королей существовали военные отряды, сформированные из ирландцев, эмигрировавших из родной страны после подавления восстаний середины и конца XVII в.

49.

Сен-Жермен – замок близ Парижа, который французский король предоставил Иакову II Стюарту после его изгнания из Англии в 1688 г. Иаков II, а затем его сын Иаков Эдуард, шевалье Сен Жорж (1688–1766), неоднократно предпринимали попытки вернуть себе престол. Вербуя сторонников, они использовали антианглийские настроения в Шотландии, особенно сильные в среде жителей Верхней Шотландии, пытавшихся противостоять ломке патриархально-родовых отношений, которая усиливалась и ускорялась под давлением Англии. Приверженцев низложенного короля и его сына называли якобитами.

50.

Я вышел бы в «Александре»... – Речь идет о трагедии «Царицы соперницы, или Смерть Александра Великого» английского драматурга Натаниеля Ли (1653–1692). Далее приводятся строки из акта IV, сц. 2 этой трагедии.

51.

Оссиан – имеются в виду «Сочинения Оссиана» шотландского поэта Джеймса Макферсона (1736–1796), издавшего свою обработку древних кельтских легенд за поэзию Оссиана, легендарного кельтского героя и певца, жившего, по преданию, в III в.

52.

Английский богослов – имеется в виду Джордж Херберт (1593–1633), богослов и поэт.

53.

...семь эфесских отроков проснулись бы... – Как рассказывается в одной из ранних христианских легенд, семь юношей христиан из Эфеса скрылись от преследований в пещере и были там замурованы. Проспав двести тридцать лет, они вышли из пещеры живыми и невредимыми.

54.

Виги – английская политическая партия. В описываемый период партия вигов находилась у власти.

55.

Бас – скала на берегу Северного моря в Восточном Лотиане (Шотландия).

56.

Норт-Берик – возвышенность в Восточном Лотиане.

57.

Вестминстер-холл – старинный зал в здании Вестминстерского дворца в Лондоне, где помещается английский парламент.

58.

Заговор Гаури. – В 1600 г. граф Джон Рутвен Гаури и его брат Александр были зверски убиты в собственном замке во время пребывания там шотландского короля Иакова VI (1567–1625). По официальной версии, братья Гаури пытались напасть на короля, и он убил их, защищая свою жизнь.

59.

Линн – герой шотландской баллады «Наследник Лини», включенной Томасом Перси (1729–1811) в сборник «Образцы древней английской поэзии». Это история о промотавшем состояние сыне лорда Линна, которому случай помогает снова стать богатым и вернуть себе утраченное поместье.

60.

Граф Ангюс Арчибалд Дуглас (1489–1557) – отчим шотландского короля Иакова V (1513–1542), захвативший власть до его совершеннолетия. Впоследствии Ангюс был обвинен в государственной измене и бежал из Шотландии, куда возвратился только после смерти короля.